

Учебник-хрестоматия
часть 2

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9

класс



ДРОФА

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9

класс

*Учебник-хрестоматия
для общеобразовательных учреждений*

В двух частях

Часть 2

*Под общей редакцией
А. Г. Кутузова*

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

8-е издание, стереотипное



ДРОФА
Москва • 2006

УДК 373.167.1:82
ББК 83.3я72
В11

Авторы-составители:
А. Г. Кутузов, А. К. Киселев,
Е. С. Романичева, В. В. Леденева

В мире литературы. 9 кл. В 2 ч. Ч. 2 : учеб.-хрестоматия для
В11 **общеобразоват. учреждений / авт.-сост. А. Г. Кутузов, А. К. Ки-**
селев, Е. С. Романичева и др. ; под ред. А. Г. Кутузова. — 8-е изд.,
стереотип. — М. : Дрофа, 2006. — 319, [1] с. : ил.

ISBN 5-358-00951-5 (ч. 2)
ISBN 5-358-00949-5

Учебник-хрестоматия входит в комплект пособий, обеспечивающих литературное образование в 5—11 классах общеобразовательных средних учебных заведений на основе государственного стандарта. В составе комплекта выпускаются методические рекомендации «Как войти в мир литературы».

Методический аппарат учебника-хрестоматии ориентирован на формирование литературно-художественных умений и развитие творческих способностей учащихся.

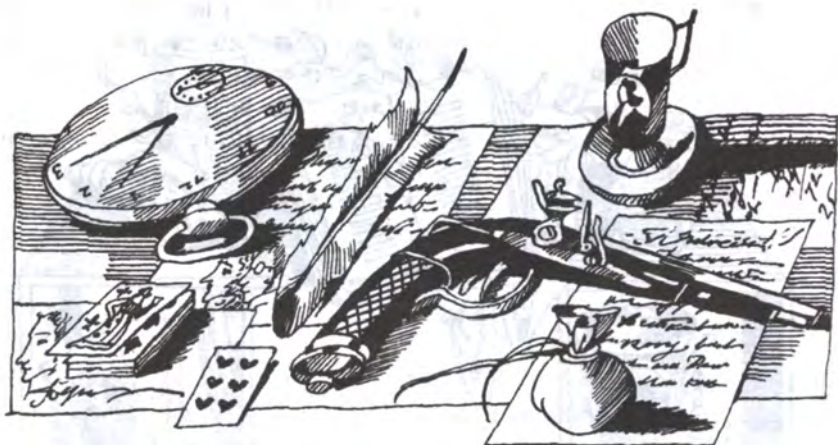
УДК 373.167.1:82
ББК 83.3я72

ISBN 5-358-00951-5 (ч. 2)
ISBN 5-358-00949-5

© ООО «Дрофа», 1999
© ООО «Дрофа», 2005, с изменениями



Литература
XIX века



Иван Сергеевич Тургенев

В жизни каждого писателя, наверное, бывает период, когда он вдруг разочаровывается в своем творчестве, в себе как писателе, считая, что «таланта с особенной физиономией и целостностью» у него нет, «повторяться не хочется» и надо заняться чем-нибудь другим. Не избежал этой участи и Иван Сергеевич Тургенев, решивший однажды, что больше «ни одной... строчки напечатано (да и написано) не будет до окончания веков», а так как языком он владеет «порядочно», то заняться можно и переводами, например перевести «Дон Кихота». Но сложилось все по-другому, и вместо перевода 30 июня 1857 года на чистом листе бумаги появилось новое название — «Ася». Сама идея написать повесть пришла внезапно. Тургенев летом попал в немецкий городок Зинциг.

Это была повесть о первой любви, но в качестве названия было выбрано имя главной героини.

АСЯ

I

Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н. Н., — дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, что-

бы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлеба напрочишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея¹ возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевелбе»². Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми — и со мною, грешным, — сперва даже поощряла

¹ *Лон-лакэй* — наемный слуга.

² «*Грюне Гевелбе*» — трехтысячная коллекция ювелирных изделий, в том числе и драгоценностей саксонских монархов, расположенная в королевском замке в Дрездене.

меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству — чем молодость не тешится! — и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голосом: «Guten Abend!»¹ — а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному гляncy речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясе-

¹ «Добрый вечер!» (нем.)

нем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донесли до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, — подумал я, — кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышками к обеду под председательством сениора, то есть старшины, — и пируют до утра, пьют, поют песни, *Landesvater*, *Gaudeamus*¹, курят, бранят филистеров; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывеской Солнца, в саду, выхо-

¹ *Landesvater*, *Gaudeamus* — старинные студенческие песни, первая — на немецком, вторая — на латинском языке.

дившем на улицу. Над самой гостиницей под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горячие взгляды, смех без причины — лучший смех на свете — все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед — куда бы то ни было, лишь бы вперед, — это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя...

— Ася, довольно тебе? — вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

— Подождем еще, — отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

— Вы русские? — сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил:

— Да, русские.

— Я никак не ожидал... в таком захолустье, — начал было я.

— И мы не ожидали, — перебил он меня, — что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... — он запнулся на мгновение, — моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз бес-

покойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», — казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновение — и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она несколько не походила на своего брата.

— Хотите вы зайти к нам? — сказал мне Гагин, — кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

— Мы живем за городом, — продолжал Гагин, — в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными

перекладами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

— Вот и наше жилище! — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, — а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..¹ Мы сейчас примемся за еду; но прежде, — прибавил он, — оглянитесь... каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекачивался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил я.

— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, — распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственно имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибежала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не

¹ Добрый вечер, мадам!.. (нем.)

тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее рóспили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

— Пора! — воскликнул я, — а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

— Пора, — повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

— Ты разве не спишь? — спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал ему руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

— Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, — закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

— Прощайте! — раздался опять ее голос.

— До завтра, — проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланеро-вского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? — спросил я самого себя. — Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбуджу...

Я поспешил отворить ему дверь.

— Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя жи-

вописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

— Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы: все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места — а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

— Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, — промолвил он сквозь зубы, — не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной.

Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревья свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворе, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шепотом Гагин, — не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смысленности здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу пить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя не-

сколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, — казалось, говорило ее лицо, — все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

— Искусно, Ася, искусно, — промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно под села к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

— За здоровье дамы вашего сердца!

— А разве у него, — разве у вас есть такая дама? — спросила вдруг Ася.

— Да у кого же ее нет? — возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязав себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чо-

порных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль — роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

— Давно ли ты стала спрашиваться? — отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, — разве тебе скучно с нами?

— Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

— Фрау Луизе, — начал Гагин, стараясь избегать моего взора, — вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, — прибавил он, помолчав немного, — да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станет, как только он возмужает. Быть художником...

Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, — нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

— Экая она у меня вольница! — промолвил Гагин. — Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулок, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

— Ася! — крикнул Гагин, — ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и открылось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

— Я здесь, — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, — мне здесь хорошо. На тебе, возьми, — прибавила она, бросая Гигану ветку гераниума, — вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

— Н. уходит, — возразил Гагин, — он хочет с тобой проститься.

— Будто? — промолвила Ася, — в таком случае, дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я ос-

становился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» — воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» — произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...». «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатеея в Фарнезине, — шептал я, — да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! — оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, — Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем

другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

— Напротив, — возразил он, — вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу à la Van Dyck, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею — ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

— А-га! — говорил Гагин, — пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день

прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

— Что за хамелеон эта девушка! — и, подумав немного, прибавил: — А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то беспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

— Bravo! — сказал я, подходя к ней, — как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

— Вы думаете, я только смеяться умею, — промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

— Однако я ваш выбор похвалить не могу, — заметил я.

— Что же читать! — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: — Так лучше пойду дурачиться, — и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, прикинула ухом, тихонько подседа ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Станный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Не долго думавши добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:

— Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

— Тебя, тебя одного, — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, — думал я, — умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытные в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильно-стью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видаться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, — хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слы-

шал в эти три дня, — все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на

Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуей мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

— Скажите, — начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

— Да, — ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

— Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, — промолвил он, — у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

— Ее историю?.. — перебил я, — разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

— Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, — продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, — она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не вы-

езжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, какой был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил, наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти — Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление — он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечки, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца

в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

— Вот, — сказал мне с усилием отец, — завещаю тебе мою дочь — твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, — прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

— Покойница Татьяна Васильевна, — так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, — во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я бабыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, — ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, — и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее была лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, — жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионеров. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что за-

болела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, — говаривала она мне, — и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрячилась, глядела букой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано — сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, — мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

— Все так, — заговорил опять Гагин, — но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

— Так вот что... — промолвил было я и прикусил язык.

— А скажите-ка мне, — спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, — неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видела же она молодых людей?

— Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая.

— Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется.

— А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость на сердце; точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

— Вот он опять, — заговорил Гагин, — и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться — все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

— Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилуйте...

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся, — промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

— О, я умею отгадывать! — продолжала она, — бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

— Вы любите вашего батюшку? — проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

— Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася.

— Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? — спросил я.

— Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это *ее* скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

— Ах, мне хорошо, — проговорила она.

В это мгновенье долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась вниз по дороге с крестами и хоругвями...

— Вот бы пойти с ними, — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

— Разве вы так набожны?

— Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, — продолжала она. — А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

— Вы честолюбивы, — заметил я, — вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

— А разве это невозможно?

«Невозможно», — чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

— Попробуйте.

— Скажите, — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, — вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

— Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

— А что вам нравится в женщинах? — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

— Какой странный вопрос! — воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

— Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

— Говорите ради Бога, не бойтесь, — подхватил я, — я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

— Ну, рассказывайте же, — продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, — рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной матерью моей! —

проговорила она вполголоса.

— У Пушкина не так, — заметил я.

— А я хотела бы быть Татьяной, — продолжала она все так же задумчиво. — Рассказывайте, — подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.

— Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня. — Если бы мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

— А крылья могут у нас вырасти, — возразил я.

— Как так?

— Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?

— Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

— Умеете вы вальсировать? — спросила она вдруг.

— Умею, — отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

Х

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла — и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу — но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду — и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыхание волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понима-

ет и все любит... Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, — но счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно поглядывая на издали белевший домик; я не только о будущем — я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою — и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

— Вы сегодня не такая, как вчера, — заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

— Нет, не такая, — возразила она неторопливым и глухим голосом. — Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

— О чем?

— Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

— Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду — да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

— Вы несправедливы к себе, — возразил я. — Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

— А я умна? — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. — Брат, я умна? — спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

— Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, — продолжала Ася с тем же задумчивым видом. — Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

— Много не нужно, но...

— Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, — прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

— Ведь вам не будет скучно со мной?

— Помилуйте, — начал я.

— Ну, спасибо! — возразила Ася, — а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

— Н.! — вскрикнул в это мгновение Гагин, — не те-
мен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и по-
дозвала меня рукою.

— Послушайте, — сказала она, — если б я умерла,
вам было бы жаль меня?

— Что у вас за мысли сегодня! — воскликнул я.

— Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажет-
ся, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть луч-
ше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право,
не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

— Разве вы меня боялись?

— Если я такая странная, я, право, не виновата, —
возразила она. — Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вече-
ра. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор
часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжи-
малось под этим загадочным взором. Она казалась спо-
койною — а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей,
чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил
трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее
нерешительных, замедленных движениях — а ей поче-
му-то воображалось, что я не в духе.

— Послушайте, — сказала она мне незадолго до про-
щанья, — меня мучит мысль, что вы меня считаете лег-
комысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам
говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны;
а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное
слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засме-
яться.

— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живо-
стью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали
вчера: «Зачем вы смеетесь?» — и, помолчав немного, она
прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?..
Крылья у меня выросли — да лететь некуда.

— Помилуйте, — промолвил я, — перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

— Вы сегодня дурного мнения обо мне, — сказала она, нахмурив брови.

— Я? дурного мнения? о вас!..

— Что это вы точно в воду опущенные, — перебил меня Гагин, — хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

— Нет, нет, — возразила Ася и стиснула руки, — сегодня ни за что!

— Я тебя не принуждаю, успокойся...

— Ни за что, — повторила она, бледнея.

.....

«Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

ХІІІ

«Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» — и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу — не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

— Вы ли господин Н.? — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. — Это вам от фрейлейн Annette, — прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее — и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она, — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради Бога, вы все узнаете... Скажите посланному: да».

— Будет ответ? — спросил меня мальчик.

— Скажите, что да, — отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась — вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

— Что с вами? — спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

— Четвертого дня, — начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, — я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

— Ваша сестра, говорите вы...

— Да, да, — перебил меня Гагин. — Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

— Да вы ошибаетесь, — начал я.

— Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голо-

ва у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? — спросил я, — ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, — продолжал Гагин, — но почему она вас так полюбила — этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, — я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее — просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, — и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился — поговорить с вами. По-моему, Ася права; самое лучшее — уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? — вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... — Бедный Гагин смутился. — Извините меня, пожалуйста, — прибавил он, — я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

— Вы хотите знать, — произнес я твердым голосом, — нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

— Но, — проговорил он, запинаясь, — ведь вы не женитесь на ней?

— Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

— Знаю, знаю, — перебил меня Гагин. — Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой — верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и выждать — но не она. С нею это в первый раз, — вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

— Да, — сказал я наконец, — вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

— Вы, повторяю, благородный человек, — проговорил он, — но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились, наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объяснить-ся с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подавать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

— Я твердо надеюсь на вас, — сказал Гагин и стиснул мне руку, — пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, — прибавил он, вставая, — потому что ведь вы на Асе не женитесь.

— Дайте мне сроку до вечера, — возразил я.

— Пожалуйста, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смуща-

ла. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» — сказал я, вставая.

XV

В установленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

— От фрейлейн Annette, — сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовой, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

— Опять: да? — спросил меня мальчик.

— Да, — повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

— Да, да, — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, — Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе действовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность.

«С ней шутить нельзя» — эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным — и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо — признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, — решил я, наконец, — она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал — и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

— Сюда! — послышался старушечий голос. — Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

— Вы это, фрау Луизе? — спросил я.

— Я, — отвечал мне тот же голос, — я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидел морщинистое лицо вдовы бургомистра. Притворно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала

быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

— Анна Николаевна, — сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

— Я желала... — начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, — я хотела... Нет, не могу, — проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

— Анна Николаевна, — повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать налившиеся слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

— Ася, — сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист, дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатила с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

— Ваша... — прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

— Что мы делаем!.. — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. — Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

— Да, — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. — Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

— Должны? — проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

— Да, да, — повторил я с каким-то ожесточением, — и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. — Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. — Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

— Оставайтесь, — воскликнул я, — оставайтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком. Но, ради Бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» — думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, — так и звенела у меня в голове.

— Я не звала брата, — слышался испуганный шепот Аси, — он пришел сам.

— Посмотрите же, что вы наделали, — продолжал я. — Теперь вы хотите уехать...

— Да, я должна уехать, — так же тихо проговорила она, — я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

— И вы думаете, — возразил я, — мне будет легко с вами расстаться?

— Но зачем же вы сказали брату? — с недоумением повторила Ася.

— Я вам говорю — я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

— Я заперлась в моей комнате, — возразила она простодушно, — я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту — меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

— И вот теперь все кончено! — начал я снова. — Все. Теперь нам должно расстаться. — Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. — Вы не дали развиться чувству, которое начинало созреть, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед — и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

— Анна Николаевна, Ася, — твердил я, — пожалуйста, умоляю вас, ради Бога, перестаньте... — Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила — с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату — я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться — кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

— Фрейлейн ушла? — спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак — и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа — оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди — жгли меня. «Ваша...» — слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», — уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» — повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

— Видели вы сестру? — закричал он мне еще издали.

— Разве ее нет дома? — спросил я.

— Нет.

— Она не возвращалась?

— Нет. Я виноват, — продолжал Гагин, — не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

— Она не была у часовни.

— И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

— Где?

— У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, — прибавил я, — я был уверен, что она домой вернулась.

— Подождем, — сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно ог-

лядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

— Это ни на что не похоже! — воскликнул он, — у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

— О чем же вы с ней говорили? — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

— Я виделся с ней всего минут пять, — отвечал я, — я говорил с ней, как было условлено.

— Знаете ли что? — возразил он, — лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, — тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь — да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» — восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне

замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого — но никто не отозвался...

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

— Нашли? — спросил я его.

— Она вернулась, — отвечал он мне шепотом, — она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

— Слава Богу! — воскликнул я с несказанным порывом радости, — слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

— В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму, — в другое время, а теперь прощайте.

— До завтра, — промолвил я, — завтра все будет решено.

— Прощайте, — повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, — подумал я, — завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до 3. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены и дверь тоже была раскры-

та; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

— Уехали! — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

— Уехали?.. — повторил я. — Как уехали? Куда?

— Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Пойдите, ведь вы, кажется, господин Н.?

— Я господин Н.

— К вам есть письмо у хозяйки. — Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. — Вот-с, извольте.

— Да не может быть... Как же это так?.. — начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, — писал он, — пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? — вскричал я, как будто он мог меня слышать, — что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложить-

ся и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

— По-настоящему, — начала старуха, показывая мне маленькую записку, — я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» — скажут мне; не знаю, возможно ли это, — знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений установил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, — выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, — я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

XXII

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более — я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знал ее в лучшую пору моей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин, — но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля,

доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам — что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека.



Вопросы и задания

Как вы думаете, почему писатель назвал свою повесть именем главной героини?

Вспомните настоящее имя Аси. Подумайте, насколько точно каждое из имен (Анна — грация, миловидность; Ася — рожденная заново) соответствует характеру главной героини.

Как вы думаете, почему ни рассказчик, ни брат Аси не имеют имен?

Дайте характеристику героям повести, выделив в каждом из них ключевую черту. Посмотрите, как эта черта воплощена в портрете персонажа.

Что из себя представляет главный герой повести? Как вы понимаете его слова: «Я жил без оглядки»? Почему между ним и Гагиным сразу установились теплые дружеские отношения? Как они оба относятся к Асе?

Расскажите историю Гагина и Аси. Почему Гагин решил раскрыть семейную тайну рассказчику?

Что привлекало, а что настораживало в Асе главного героя? Почему он однажды воскликнул: «Что за хамелеон эта девушка!»? В каком значении употребляет И. С. Тургенев слово «хамелеон»?

Восстановите историю взаимоотношений Аси и рассказчика. Подумайте, почему не сложились их отношения. Как автор отвечает на этот вопрос?

Какой мотив появляется в главе IX, как он помогает понять душевное состояние героев? Проследите развитие этого мотива на последующих страницах повести и

ответьте на вопрос: зачем автор его вводит? Свою точку зрения сравните с мнением литературоведа М. О. Гершензона: «Вот образ любви, по Тургеневу (он любил аллегорические сцены): любовь налетает на человека, как гроза в ясный день, и в ошеломляющем вихре ее у души внезапно вырастают крылья, человек превращается в птицу, со стремительным полетом птиц, с их неукротимой волей».

Какие художественные средства использует И. С. Тургенев для передачи внутреннего состояния героев?



Семинар

Спор критиков

Как и всякий большой художник, Тургенев и в глубоко лиричной повести о любви не уходил от действительности. Герой Тургенева — сын своего времени, и как бы ни был он по своему душевному складу близок самому автору, его поступки подвергаются суровому суду. Вот почему на повесть сразу обратили внимание читатели. Более того, вокруг фигуры главного героя разгорелась жаркая дискуссия, в которой приняли участие видные критики того времени: П. В. Анненков, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский. Вот и мы предлагаем вам окунуться в атмосферу эпохи и, ознакомившись со статьями П. В. Анненкова «О литературном типе слабого человека» и Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», проведите семинар, на который можно вынести следующие вопросы.

1. Какие проблемы, поставленные в повести, могли волновать читателей на рубеже 50—60-х годов XIX века?
2. Какие положительные и отрицательные стороны характера главного героя выделяет каждый из критиков?
3. Чем объясняют авторы статей нерешительность героя в любви?
4. В один ряд с какими литературными героями ставят критики тургеневского господина Н. Н.? Почему?
5. Какая из интерпретаций повести ближе вашему пониманию?

Готовясь к семинару, вы, наверное, заметили, что при всей противоположности суждений Чернышевского и Анненкова оба критика сходятся в определении основного противоречия, свойственного не одному только персонажу тургеневской повести. Вспомните слова Гагина о «проклятой славянской распущенности». Именно в этой черте национального характера усматривают критики главный корень зла. Однако сейчас, спустя более чем сто лет, появились и другие точки зрения, одна из них, в частности, высказана нашим современником, литературоведом Ю. В. Лебедевым, который отказывается от каких-либо обвинений в адрес героя произведения. По мнению исследователя, виной всему не нравственная ущербность тургеневского персонажа, а своенравная сила любви: чувство к Асе вспыхнуло в душе героя несколько мгновений спустя после свидания, любовь запоздала — и счастье оказалось недостижимым, а жизнь разбитой.

Согласны ли вы с такой трактовкой образа героя? Как вы думаете, чем вызвано появление новой точки зрения на тургеневскую повесть?



Творческий практикум

В самом начале учебника мы размышляли над проблемой: зачем мы читаем?

Вот мнение известного французского писателя Ги де Мопассана, с творчеством которого мы встречались в восьмом классе:

«В сущности, публика состоит из множества групп, которые кричат нам: «Утешьте меня», «Позабавьте меня», «Дайте мне погрузиться», «Растрогайте меня», «Дайте мне помечтать», «Рассмешите меня», «Заставьте меня содрогнуться», «Заставьте меня плакать», «Заставьте меня размышлять».

И только немногие избранные умы просят художника: «Создайте нам что-нибудь прекрасное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту».

А теперь постарайтесь ответить честно, во-первых, к какой группе вы относите себя. А во-вторых, какую из

указанных задач, по-вашему, ставил перед собой автор «Аси». Пожалуйста, не забудьте про доказательства.

Напишите сочинение или эссе на тему «Злободневное и вечное в повести И. С. Тургенева «Ася»».



Советы библиотеки

Собрание сочинений И. С. Тургенева включает в себя очерки, рассказы, стихотворения в прозе, романы и повести. Последние, несмотря на различия во времени написания, обладают рядом общих черт. Так, повествование в большинстве из них ведется от лица героя, причем события удалены от момента повествования на годы или даже десятки лет. И это создает два плана: с одной стороны, перед нами непосредственные чувства, переживания героя, с другой — их оценка дается с высоты прожитых лет.

В центре повестей Тургенева извечные вопросы человеческой жизни, герои-рассказчики переживают сильные ощущения, которые тем острее, чем прекрасней постоянный спутник, немой свидетель людской жизни — вечная природа. Герои тургеневских повестей молоды, и жизнь предстает перед ними необъятной и бесконечной. А любовь — лучший дар молодости — не приносит счастья: молодость не способна познать и сохранить ее, и только одинокая старость перед лицом смерти с горькой мудростью оценивает ускользнувшее счастье.

Н. А. Некрасов об одной из тургеневских повестей говорил, что в ней разлито «море поэзии могучей, благоуханной и обаятельной». Действительно, повести Тургенева оставляют такое впечатление, будто прочитано стихотворное лирическое произведение. Как создается такой эффект? Как правило, образом повествователя, героя — тонко чувствующего, мыслящего человека. Поэтичность повести также создается и характерным для Тургенева соотношением душевной жизни и жизни природы (так называемый «параллелизм»).

Многие повести Тургенева заканчиваются взволнованным монологом рассказчика, напоминающим стихотворение в прозе, который «выводит» размышления героя и читателей за пределы конкретного сюжета — в бес-

предельный мир вечных вопросов бытия. Это такие повести, как «Первая любовь», «Фауст», «Вешние воды».

Начиная с романов «Рудин» и «Дворянское гнездо» стали говорить о типе «тургеневской девушки», созданном автором. На страницах «Аси» воплощением этого типа стала главная героиня, а в романах — Наталья Ласунская («Рудин») и Лиза Калитина («Дворянское гнездо»). Их истории — непростые истории первой любви увлекают читателей, но, как вы уже убедились, под пером Тургенева они становятся чем-то большим. А чем?... Это предстоит узнать вам, и, может быть, вы откроете в них для себя нечто новое и неожиданное.

— Николай Алексеевич Некрасов —

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь, —

Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет

Беззащитного певца...

Праздник души — молодости годы...

Начало литературного пути поэта совпало с наступлением эпохи великой русской прозы. Новое поколение поэтов — Ф. Тютчев, А. Фет, Н. Некрасов — были настолько непохожи, будто говорили на разных языках. Каждый создал свой поэтический язык, каждый по-своему понимал предназначение поэзии.

Некрасов поставил поэзию на службу народу:

Толпе напоминать, что бедствует народ
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать внимание сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?..

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру, неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пушай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...

«Элегия»

Некрасов прекрасно сознавал, что поэзия, поставленная на службу кому-то или чему-то, пусть даже самым благородным целям, повторяет судьбу публицистики. Сегодня она интересна, завтра — забыта.

Я умру — моя померкнет слава...

.....

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

«Зине»

А еще горше сознание того, что народ, безграмотный и забитый, не читает стихов своих заступников:

И песнь моя громка!.. Ей вторят доли, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся... Природа внимлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! не внимлет он — и не дает ответа...

«Элегия»

Но Некрасов ошибался: его слышали. Время просеяло все написанное им. Песок вновь лег на дно реки Поэзии, но остались золотые самородки, над которыми годы не властны. За литературным признанием пришло и народное. Высшим его знаком стали песни, которые мы привычно называем народными, на самом же деле — созданные народом на стихи Некрасова. Достаточно вспомнить такую, как «Ой, полна, полна коробушка...» (из поэмы «Коробейники»).

Вот еще одно стихотворение Некрасова, ставшее народной песней.

ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровый дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвести,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни, — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...



Вопросы и задания

Почему это стихотворение стало народной песней? Какая тайна скрыта в содержании и форме «Тройки»?

Почему стихотворение называется «Тройка»?

На какие части вы бы разделили стихотворение?

Сколько героев в этом стихотворении? (Вопрос прост только на первый взгляд!)

Как вы думаете, почему в последней строфе меняется система рифмовки? Меняется ли от этого интонация?

Каким чувством проникнут последний аккорд?

Ведущий мотив поэзии Некрасова (в лирике мотив — это преобладающая интонация, сквозное, проходящее через всю поэзию лирическое чувство) — мотив вины и покаяния. Вины перед страдающим народом:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознания
На путь, которым Бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой.
И песнь моя бесследно пролетела,

И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! Прости!..

*«Умру я скоро.
Жалкое наследство...»*

Вина перед матерью. Это особая тема в поэзии Некрасова. Она вырастает из детства поэта, из воспоминаний о страданиях своей матери, и, может быть, самые чистые, самые пронзительные стихи Некрасова — о матерях-крестьянках. Образ страдающей и любящей матери вырастает в величественный образ-символ матери-Родины, Руси-матушки. Материнская любовь — святая любовь, и с ней не сравнится никакое другое человеческое чувство.

* * *

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Человек слаб физически, слаб духовно, и он не может всех сделать счастливыми, накормить всех голодных,

воскресить всех погибших... Чувству вины перед теми, кто дает жизнь и спасает, всегда в поэзии Некрасова сопутствует покаяние. Вот почему в его творчестве так часто встречаются образы кающихся грешников.

О ДВУХ ВЕЛИКИХ ГРЕШНИКАХ

Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках ее сказывал
Инок, отец Питирим.

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр — атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу.
Вождь-Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу,

Днем с полубовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесьть Господь пробудил.

Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабеж,
Тени убитых являются,
Целая рать — не сочтешь!

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полубовнице
И есаула засек.

Совесьть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать
К гробу Господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стаёт.

Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой,
Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.

Денно и ночью Всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!

Сжалился Бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,

Рек: «Не без Божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!

Будет работа великая,
Будет награда за труд,
Только что рухнет дерево,
Цепи греха упадут».

Смерил отшельник страшилище.
Дуб — три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,

Режет упругое дерево,
Господу славу поет.
Годы идут — подвигается
Медленно дело вперед.

Что с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!

В сердце сомнение крадется,
Режет и слышит слова:
«Эй, старина, что ты делаешь?»
Перекрестился сперва,

Глянул — и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.

Много жестокого, страшного
Старец о пане слышал,
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.

Пан усмехнулся: «Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.

Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!»

Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.

Рухнуло древо, скатилось
С инока бремя грехов!..
Господу Богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов!

Некрасов создает это повествование в жанре духовных стихов — народной поэзии религиозного содержания. Ее носителями и создателями были калики перехожие, странники-богомольцы. В поэме Некрасова легенду «О двух великих грешниках» поет-рассказывает странствующий бо-

гомолец Иона Ляпушкин. Некрасов создает стилизацию, т. е. передает жанровые и речевые особенности народных духовных стихов. Но еще он передает и народный дух, народное понимание христианских ценностей. А оно не всегда совпадает с церковными догматами (законами веры).



Вопросы и задания

Когда с Кудеяра «скатилось бремя грехов»? Как вы думаете, мог ли появиться такой сюжет в церковной литературе? Какое содержание вкладывает народ в понятие «справедливость»? Кто вершит высший суд над паном Глуховским?

Есть зло, творимое людьми. Но есть и раскаяние в содеянном. А значит, есть надежда:

Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер Бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!..

Самые светлые ноты поэзии Некрасова рождены религиозными чувствами: любовным отношением к Христу, искупившему своей жизнью людскую вину, дающему прощение и утешение (он-то у Некрасова и есть идеальный народный заступник!), воспоминаниями о чистой и безоблачной детской вере, видом русского сельского храма.

ТИШИНА

Отрывок

1

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего!

Я там не свой: хандрю, немею,
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
Но ты дохнула — и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!

Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!
И ныне жадно поверяю
Мечту любимую мою
И в умиление посылаю
Всему привет... Я узнаю
Суровость рек, всегда готовых
С грозой выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревенок тишину,
И нив широкие размеры...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...

Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!



Вопросы и задания

Мы не будем давать заданий и вопросов к этому отрывку, кроме одного: **попробуйте найти в русской живописи картину, проникнутую тем же, некрасовским, настроением.** И если вы ее найдете, то воочию увидите образ любимой Родины, созданный гением поэта.



Творческий практикум

Прочитайте притчу Платона Каратаева о безвинно пострадавшем купце из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

«22-го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех, бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных — от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наесться сколько угодно.

Дождик шел с утра, и казалось, что вот-вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.

Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал: ну-ка, ну-ка, еще, еще наддай.

Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.

Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорным, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услышав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что-то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.

— Что, как твое здоровье? — спросил он.

— Что здоровье? На болезнь плакаться — Бог смерти не даст, — сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.

— ...И вот, братец ты мой, — продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, — вот, братец ты мой...

Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему-то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.

Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали

кнутом и, выдернув ноздри, — как следует по порядку, говорил Каратаев, — сослали на каторгу.

— И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следует, покоряется, худого не делает. Только у Бога смерти просит. — Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные-то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем Богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромья что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец, и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку — хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.

— Старичок и говорит: Бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, Богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючими слезьми. Что же думаешь, соколик, — все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, — что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жалче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следует. Место

дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. — Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. — А его уж Бог простил — помер. Так-то, соколик, — закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

Мотивы покаяния, прощения, справедливого суда... Какими они предстают у Н. А. Некрасова и Л. Н. Толстого? Размышляя над этим вопросом, вспомните традиции, питающие русскую литературу.



Советы библиотеки

«Я задумал изложить в связном рассказе все, что знаю о народе...» — писал Н. А. Некрасов. Эти слова сказаны о поэме «Кому на Руси жить хорошо», но они по праву могут быть отнесены и ко всему творчеству поэта.

Прочитайте его поэмы: «Коробейники», «Мороз, Красный нос» и, конечно, «Кому на Руси жить хорошо». В этой поэме — что ни герой, то особый человеческий тип. А все вместе они создают эпический образ России, страны, которую поэт любил самозабвенно и народу которой он отдал всего себя без остатка.

— Федор Михайлович Достоевский —

Как это ни парадоксально, но разговор о творчестве Достоевского, книгами которого зачитывается весь мир, мы начинаем с советов библиотеки. Дело в том, что повесть, о которой мы будем говорить, трудно понять, не зная того, какие события предшествовали ее появлению

на свет, какие споры разгорелись вокруг первых же произведений молодого писателя.

«Новый Гоголь явился», — такими словами было встречено появление в печати первой повести Ф. М. Достоевского «Бедные люди», которую, мы надеемся, вы уже взяли в библиотеке. Как вы уже поняли, в этом произведении начинающий автор развивает излюбленные темы 40-х годов XIX века — тему Петербурга, тему «маленького человека». Но сам Достоевский практически в то же самое время писал брату: «Все наши и даже Белинский нашли, что я далеко ушел от Гоголя».

Вы уже знаете о том, как оценивает Самсона Вырина и Башмачкина Макар Девушкин, герой «Бедных людей». Прочитайте повесть целиком и подумайте над вопросом: чем полемичен образ Макара Девушкина по отношению к гоголевскому персонажу? Какие сюжеты коллизии «Станционного смотрителя» и «Шинели» обыграны в «Бедных людях»? Как их решает Достоевский?

Можем ли мы говорить, что взгляды Пушкина, Гоголя и Достоевского на «маленького человека» тождественны, а их авторские позиции совпадают?

Время подтвердило правоту слов Достоевского: он оказался «другим». Хотя, на первый взгляд, все было очень похоже: те же темы, те же герои, тот же Петербург, — похоже, но другое. После выхода в свет «Бедных людей», сделавших сразу имя автора известным, молодой писатель продолжает много работать: одна за другой появляются повести «Двойник», «Хозяйка», «Елка и свадьба», а в 1847 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появляется ряд очерков под общим заглавием «Петербургская летопись». Эти очерки помогли писателю найти новую художественную тему — «мечтательство»: «Знаете ли вы, что такое мечтатель, господа? Это — кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это — трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, и мы говорим это вовсе не в шутку... Селятся они большей частью в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь от людей и от света, и вообще даже чего-то мелодраматическое кидает

ется в глаза при первом взгляде на них... На улице он ходит, повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, но если заметит что, то самая обыкновенная житейская мелочь принимает в нем колорит фантастический... Воображение настроено: тут рождается целая история, повесть, роман... Непременно начинает в нем прищипываться талант действительной жизни».

Повесть «Белые ночи», в которой воплотился образ такого героя, носит два подзаголовка: «Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя)». Литературная форма его непосредственно выросла из жанра фельетона. Так же как в «Петербургской летописи», повествование ведется от первого лица, в тоне непринужденной беседы с читателем. В повести тот же пейзаж, что и в фельетоне: петербургская весна, город пустеет, все разъезжаются по дачам. Даже в герое «Белых ночей» нетрудно узнать автора «Петербургской летописи». Он тоже «полубольной горожанин, фланер и мечтатель». Он любит свой город, бродит по улицам, знает каждый дом, и дома с ним разговаривают. Форма такой беседы естественно переливается в форму исповеди. Случайно познакомившись на петербургской улице в белую ночь с Настенькой, герой раскрывает перед ней свою душу.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Сентиментальный роман

Из воспоминаний мечтателя

...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..

Ив. Тургенев

Ночь первая

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любез-

ный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии — и люблюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый Божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегают вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть корот-

кие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светлорозовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! Варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи.

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.

Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?), — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел за окно, и все понапрасну... нисколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога... потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший

извозчика, на глазах моих тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, — мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачистую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль Островов, — воза и лодки удесят�ерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что наконец мне стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым

господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!

Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опустится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно делается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблестать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрас-

но блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...

А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было.

Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слышала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.

По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но

нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула — и... я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незванный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и, только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.

— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.

Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О незванный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или пережитого горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.

— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось...

— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже...

— А разве вы теперь меня знаете?

— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?

— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не помешает. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волнение, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то испуге теперь.

Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.

— Как? не-уже-ли?

— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...

— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.

— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть и тогда — прощай все мои средства!..

— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.

— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания...

— Понравиться, что ли?

— Ну да; да будьте, ради Бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто наружу... Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно... Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..

— Но как же, в кого же?..

— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она од-

на; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средств узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть такой робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смейтесь... Впрочем, я для того и говорю...

— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!

— О, благодарю вас, — закричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!

— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считали достойной... внимания и дружбы... одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?

— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность...

— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?

— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напому: мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это... у меня стеснилось сердце... О Боже мой! Ну, да неу-

жели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?... Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..

— Оставьте, довольно, не говорите... — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда, в переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...

— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?

— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...

— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую...

— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...

— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы... Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы...

— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначила свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону... одним словом, мне про-

сто хотелось бы вас видеть... чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания... Я бы и не назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор...

— Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее; я на все согласен, на все готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен... вы меня знаете...

— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала, смеясь, девушка. — Я вас совершенно знаю. Но смотрите приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя, прошу вас!

— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку...

— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не измените?..

— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.

— Спите крепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам...

— Ради Бога, но в чем? что?

— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет... Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше...

— О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается... Где я, Боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассер-

дились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почему знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения... Может быть, на меня находят такие минуты... Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все...

— Хорошо, принимаю; вы и начнете...

— Согласен.

— До свиданья!

— До свиданья!

И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решить-ся воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!

Ночь вторая

— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.

— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!

— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.

— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.

— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.

— Ну, и чем же кончилось?

— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за

человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.

— Совершенно без всяких историй! так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, — один, один вполне, — понимаете, что такое один?

— Да как один? То есть вы никого никогда не видели?

— О нет, видеть-то вижу, — а все-таки я один.

— Что же, вы разве не говорите ни с кем?

— В строгом смысле, ни с кем.

— Да кто же вы такой, объясните! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашла тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня, да и пришила булавкой мое платье к своему — и так мы с тех пор и сидим по целым дням: она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сяду, шей или книжку вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная...

— Ах, Боже мой, какое счастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.

— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..

— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?

— Ну, да, да!

— В строгом смысле слова?

— В самом строгом смысле слова!

— Извольте, я — тип.

— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?

— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я сам, расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?

— Мечтатель! позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за китайского принца выхожу... А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, Бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.

— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте... Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?

— Наконец-то! вот рано вспомнили!

— Ах, Боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо...

— Меня зовут — Настенька.

— Настенька! и только?

— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!

— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!

— То-то же! ну!

— Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.

Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:

— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятom неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то

жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тусклопрозаического и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.

— Фу! Господи Боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?

— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или по крайней мере он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, — потому что второго в таком случае уже не будет и приятель другой раз не придет, — отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только

оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разглядить и уместить разговор, показать, и с своей стороны, знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такую покорностью понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак, в сущности, и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ошетиливаться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?

— Послушайте, — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте: я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.

— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.

— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.

— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что ге-

рой всего дела — я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?

— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатами, и с которого наконец сняли эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать и покорно и послушно; иначе — я замолчу.

— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.

— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на

вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался... Вы думаете — об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазии» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что

какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужиков, которые тут же вечерают на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чужаков уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон — новое счастье! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» — думает мой мечтатель. Да и не диво,

что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем... об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте (помните музыку? Кладбищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В-й-Д-й, Дантон, Клеопатра *ei suoi amanti*, домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастье отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время, — он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажненные щеки и

такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою томительно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями... Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили друг друга так долго, «так долго и нежно»? И этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь, и как (уж, разумеется, Настенька) злы были люди! О Боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при гро-

ме музыки, в палаццо¹ (непременно в палаццо), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним, страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его... О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незванный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастье, — а тут люди приезжают из Павловска!

Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои... Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погода немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:

— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?

— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и кажется, так и окончу!

¹ *Палáццо* — дворец, особняк в Италии.

— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?

— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем — опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благосклонны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!

— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблестели на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!

— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду больше тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради Бога не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящей жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная,

и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении, эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужаемь, выживаемь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего, в сущности, никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему, и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче и покойнее было жить, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь се-

бя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясущая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев... О Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего... потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!

— Ну, не разжалобливайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?

— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.

— Нет, нет! — перебила Настенька, засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так как бы вы уже век свой любили меня!

— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!

— Руку вашу! — сказала Настенька.

— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.

— Итак, начнемте мою историю!

История Настеньки

— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка...

— Если другая половина так же недолга, как и эта... — перебил было я, засмеявшись.

— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.

Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и напалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и припилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать...

Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.

— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно... Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.

Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец...

— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.

— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что наконец ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.

Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказание, наказание! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»

А бабушке все бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли, — все в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.

Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришивленная; нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще... Жилец как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!

С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что все хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.

— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?

— А! — говорит, — описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, — говорит бабушка, — много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, — говорит, — Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, — говорит, — он книг прислал?

— А все Вальтера Скотта романы, бабушка.

— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь пашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?

— Нет, — говорю, — бабушка, нет записки.

— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет записывают, разбойники!..

— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.

— Ну, то-то же!

Вот мы и начали читать Вальтера Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что наконец я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.

Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». — «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «Иванго¹ да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.

Через неделю я ему опять попала на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было за чем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» — говорит. Я ему: «Здравствуйте!»

— А что, — говорит, — вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?

Как он это у меня спросил, я, уже не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.

— Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?

Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.

— Послушайте, — говорит, — хотите со мною в театр поехать?

— В театр? как же бабушка-то?

— Да вы, — говорит, — тихонько от бабушки...

¹ *Ивангоэ* — так в первом переводе на русский язык назывался роман Вальтера Скотта «Айвенго» («Ivanhoe»).

— Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!

— Ну, прощайте, — говорит, а сам ничего не сказал.

Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; «Севильского цирюльника» дают; знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».

— «Севильского цирюльника»! — закричала бабушка, — да это тот самый цирюльник, которого в старину давали?

— Да, — говорит, — это тот самый цирюльник, — да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!

— Да как же, — говорит бабушка, — как не знать! Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!

— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром.

— Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка, — отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.

Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».

Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабуш-

ки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — все на той же лестнице, разумеется, — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.

Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.

Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала да наконец и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я приведение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?

Мы долго говорили, но я наконец пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой прищипливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!

Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

— Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.

Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уже здесь целые три дня и, и...

— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.

— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу...

Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.

Я никак не ожидал подобной развязки.

— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради Бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет...

— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер,

накануне отъезда: когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!

И она снова ударилась в слезы.

— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?..

— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.

— Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватившись. — А вот что: напишите письмо.

— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.

— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг — отчего же теперь...

— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...

— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы наконец вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, все более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться... В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова...

— Послушайте, вы как бы написали?

— Что?

— Да это письмо.

— Я бы вот как написал: «Милостивый государь...»

— Это так непременно нужно — милостивый государь?

— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...

— Ну, ну! дальше!

— «Милостивый государь!

Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт все оправдывает, пишите просто:

«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!

Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не по досадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы неспособны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».

— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам Бог послал! Благодарю, благодарю вас!

— За что? за то, что меня Бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.

— Да, хоть за то.

— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!

— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и про-

стых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как придет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером, в десять часов.

— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра все это будет.

— Письмо... — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо... но...

Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове.

— R,o-Ro, s,i-si, n,a-na, — начал я.

— Rosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.

— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!

Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.

«До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

Ночь третья

Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще не ясные для меня вопросы толпятся в моей голове — а как-

то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это!

Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастья.

— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала она, — я не приду.

Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.

Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь...

Однако как радость и счастье делают человека прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было весело, все смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце... Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастья! А я... Я принимал все за чистую монету; я думал, что она...

Но, Боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое; когда наконец даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь... да, любовь ко мне, — была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье?... Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсилась. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, — она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю ее, и сжалась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других; чувство не разбивается, а сосредоточивается...

Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.

— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она, — так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?

— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.

— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!

Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.

— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту очень серьезно. — Да вас Бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его...

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.

— Вы в припадке, — сказал я, — вы трусите; вы думаете, что он не придет.

— Бог с вами! — отвечала она, — если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства!..

В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.

— Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? — сказала она, подавая мне ее опять. — Ну, что же? мы

встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.

— Как мы любим друг друга! — закричал я.

«О Настенька, Настенька! — подумал я, — как этим словом ты много сказала! От такой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»

Наконец сердце мое переполнилось.

— Послушайте, Настенька! — закричал я, — знаете ли, что со мной было весь день?

— Ну, что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор все молчали!

— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом... потом я пришел домой и лег спать.

— Только-то? — перебила она, засмеявшись.

— Да, почти только-то, — отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накалились глупые слезы. — Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность, и словно вся жизнь остановилась для меня... Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...

— Ах, Боже мой, Боже мой! — перебила Настенька, — как же это все так? Я не понимаю ни слова.

— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление... — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.

— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!

Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом... Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.

— Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.

— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.

— Да, одиннадцать, — сказала она наконец робким, нерешительным голосом.

Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение, и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.

— Да и смешное дело, — начал я, все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, — да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял... Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите наконец тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь все может случиться.

— Да, да! — отвечала Настенька, — я и не подумала; конечно, все может случиться, — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль. — Вот что вы сделайте, — продолжала она, — вы идите завтра, как можно раньше, и, если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой адрес.

Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною... Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня голову. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она плакала.

— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество!.. Полноте!

Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал и грудь все еще колыхалась.

— Я думаю об вас, — сказала она мне после минутного молчания, — вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого... Знаете ли, что мне пришлось теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.

Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.

— Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?

— Нет, Настенька, нет, — отвечал я, — это значит, что вы его больше всего на свете любите и гораздо больше себя самой любите.

— Да, положим, что это так, — отвечала наивная Настенька, — но знаете ли, что мне пришлось теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще; мне уже давно все это приходило в голову. Послу-

шайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боится оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их...

— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, — перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.

— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством. — Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например... хоть бы теперь... мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. — Вы меня простите, если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, — прибавила она голосом, дрожавшим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, — но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую... О, дай вам Бог за это счастья! Вот то, что вы мне насаждали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как вы себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастья с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю...

Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.

— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала она наконец, подняв голову. — Поздно!..

— Он придет завтра, — сказал я самым уверительным и твердым голосом.

— Да, — прибавила она, развеселившись. — Я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до

свидания! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было; будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам все расскажу.

И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:

— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?

О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!

Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь...

Но до завтра, до завтра! Завтра она мне все расскажет.

Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе.

Ночь четвертая

Боже, как все это кончилось! Чем все это кончилось!

Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.

— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.

Она быстро обернулась ко мне.

— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!

Я смотрел на нее в недоумении.

— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.

— Нет, у меня нет письма, — сказал я наконец, — разве он еще не был?

Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.

— Ну, Бог с ним! — проговорила она наконец прерывающимся голосом, — Бог с ним, если он так оставляет меня.

Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.

— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил неостало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?

— Не утешайте меня, — говорила она плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..

Тут рыдания пересекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.

— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой, Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви... И после этого!.. Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради Бога, объясните мне — я этого не могу понять, — как можно так варварски-грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?

— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.

— Ну!

— Я спрошу его обо всем, расскажу ему все.

— Ну, ну!

— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если...

— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по... за... буду...

Она не договорила.

— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.

— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..

Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.

— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата... что она ничего не сделала!.. О Боже мой, Боже мой...

— Настенька! — закричал я наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. — Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен наконец говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце...

Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.

— Что с вами? — проговорила она наконец.

— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, все вздор, все несбыточно, все глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того,

чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..

— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазах, — что с вами?

— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь все сказано! — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы наконец слушать то, что я буду вам говорить...

— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите... Ах Боже мой, Боже мой!

— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.

— Что это вы мне говорите! Я наконец вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже! я говорю глупости! Но вы...

И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.

— Что же делать, Настенька, что ж мне делать! я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничем не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька...

— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, Боже мой!

— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы схоронил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заго-

ворили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя...

— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая.

— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..

— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но... говорите! я вам после скажу! я вам все расскажу!

— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротить! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь все это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг, — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька),

а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..

— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)... но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О Боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но... ну, ну, я решилась, я все скажу...

— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!

— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?

— Чего ждать, как?

— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почему знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас наконец люблю сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он...

Волнение бедняжки было так сильно, что она не закончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она все жала мне руку и говорила между рыданиями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте, чтоб эти слезы — это так, от слабости, подождите, пока пройдет...» Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец она собралась с духом и начала говорить...

— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить... Я целый год его любила и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, — Бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня, — ну, Бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, кончено! Но почему знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почему знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может наконец вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благо-

дарность... что любовь моя будет наконец достойна вашей любви... Возьмете ли вы теперь мою руку?

— Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька!.. О Настенька!..

— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже все сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-нибудь другом, ради Бога!..

— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...

И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети...

— Я теперь живу один, Настенька, — заговаривал я, — а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...

— Разумеется, нет, а у бабушки пенсия; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.

— Конечно, нужно взять бабушку... Только вот Матрена...

— Ах, да и у нас тоже Фекла!

— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..

— Все равно; они обе могут быть вместе; только завтра к нам переезжайте.

— Как это? к вам! Хорошо, я готов...

— Да, вы наймете у нас. У нас, там, наверху, мезонин; он пустой; жилища была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того...

— Ах, Настенька!..

И оба мы засмеялись.

— Ну полноте же, полноте. А где вы живете? я и за-
была.

— Там, у —ского моста, в доме Баранникова.

— Это такой большой дом?

— Да, такой большой дом.

— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее...

— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего... Я получу скоро жалованье...

— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки.

— Ну вот и прекрасно... а я скоро награждение получу, Настенька...

— Так вот, вы завтра и будете мой жилец...

— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.

— Да, поедем, — сказала, смеясь, Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое...

— Ну, хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал...

Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили Бог знает куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной, у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза; я оробею, похолодею... Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить...

— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала наконец Настенька, — полно нам так ребячиться!

— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.

— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня...

— Непременно!
— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.
— Непременно, непременно...
— Честное слово?... потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!
— Честное слово, — отвечал я смеясь...
— Ну, пойдемте!
— Пойдемте.

— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..

Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня еще сильнее.

В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...

— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?

— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на ногах.

— Настенька! Настенька! это ты! — слышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов...

Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она едва подавала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.

Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец оба они исчезли из глаз моих.

Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.

— Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес, — проговорила надо мною Матрена.

— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со стула.

— А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.

Я сломал печать. Это от нее!

«О, простите, простите меня! — писала мне Настенька, — на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..»

Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О Боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»

«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!

«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!»

Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.

Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим... И когда вы

увидите меня, вы подадите мне руку... да? вы подадите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы любите меня по-прежнему?

О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее... друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне... Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли?

Простите нас, помните и любите вашу

Настеньку».

Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.

— Касатик! а касатик! — начала Матрена.

— Что, старуха?

— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору...

Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая, молодая старуха, но не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие...

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая несколько не поумнела за все эти годы.

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..



Вопросы и задания

Постарайтесь, опираясь на текст повести, дать характеристику ее главному герою. Что делает его мечтателем? Однажды сам Ф. М. Достоевский так охарактеризовал такой тип: «В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называется мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*». Как вы думаете, считает ли сам автор своего героя «существом среднего рода»? Как писатель относится к тому образу жизни, который ведет мечтатель, к его переживаниям литературных и исторических образов?

Какой мотив начинает звучать в диалоге мечтателя и Настеньки? В данном случае мотив — дополнительная тема произведения.

«— Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— ...Милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею».

Подумайте, почему этот мотив так важен автору. В каких известных вам произведениях уже есть похожий мотив?

Перечитайте сцену первой встречи мечтателя с Настенькой. Почему он так легко и просто увлекся девушкой?

Что, по мысли писателя, спасает героя от «греха» мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни?

Восстановите историю жизни Настеньки и ее любви. В чем необычность ее жизненных историй?

Сопоставьте героев «Белых ночей» и «Бедных людей»: Настеньку и Вареньку, мечтателя и Девушкина. Как такое сопоставление позволяет понять подзаголовок «сентиментальный роман»? В каком значении употреблено в этом подзаголовке слово «роман»?

Как и почему герой воспринимает финал своих отношений с Настенькой? Можно ли считать такое завершение несчастным?

Как воспринимает мир Настенька? О чем она мечтает?

Чтобы точнее ответить на этот вопрос, перечитайте ее последнее письмо и разговор с мечтателем в «Ночи третьей». Как ее образ помогает читателю понять основную тему повести и позицию автора?

Как вы думаете, почему так легко и просто «разрешает» Достоевский все, казалось бы, неразрешимые вопросы?

Изменилось ли теперь, после обсуждения и анализа, ваше понимание смысла названия повести?



Творческий практикум

К сожалению, сохранились очень немногочисленные отзывы современников о повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Но давайте пофантазируем и попробуем написать рецензию или эссе от лица критика-романтика и критика-реалиста.

Подумайте, кого из героев русской и мировой литературы можно назвать мечтателями. В чем их сходство и различие с героем Достоевского? Ответы на эти вопросы помогут вам подготовиться к письменной работе на тему «Мечтатели в русской и мировой литературе».



Библиотечный урок Европейская литература XIX века

В восьмом классе, когда мы говорили о традициях, на основе которых развивалась литература как русская, так и европейская, мы увидели два важнейших направления этого развития. Помните? **Романтизм и реализм.**

Именно в XIX веке произошло разделение некогда единого литературного потока на эти два направления, каждое из которых оказалось очень продуктивным и дало мировой культуре великое множество художественных открытий, великих писателей и вечных образов. Причем это разделение не создало непреодолимых границ. Оба направления в процессе своего развития взаимодействовали и взаимообогащали друг друга. Примеров здесь можно привести очень много. Если говорить о России, то это, конечно, творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.

Но русский литературный XIX век стал «золотым» именно потому, что наши писатели смогли показать читателям всего мира великую нравственную силу реалистической прозы. И высшие их творческие достижения, по мнению многих и многих профессиональных читателей, находятся, конечно, в области реализма.

Начало XIX века в Европе отмечено мощным романтическим подъемом литературы. Провозглашенное просветителями «царство разума, свободы, равенства и братства» в XIX веке начинает осознаваться многими творцами как иллюзия. Поэтому мир начинает казаться неустойчивым, хаотичным, бездуховным. В сознании многих возникает разлад между идеалом и действительностью. Отражая это состояние, одни писатели в поисках гармонии жизни обращались в прошлое, идеализируя его, или создавали свой вымышленный мир. Другие — пытались увидеть настоящую красоту и смысл существования человека в реальной жизни, даже в условиях самых трагических конфликтов человека и мира, окружающего его. Но в произведениях всех без исключения писателей главную ценность и художественный интерес

представляет человек, его многогранная, противоречивая, страшная и возвышенная душа.

А теперь, после такого обзора-вступления, мы вас можем направить в самостоятельное путешествие по европейскому литературному континенту XIX века. Имена многих писателей вам уже знакомы, так что «на местности» ориентироваться будет легче.

Задачи же ставятся две. Первая — расширить свой общекультурный и читательский кругозор. Помните, чем старше становится человек, тем больше времени у него забирает профессия. И, как следствие, меньше времени остается на чтение для души, для удовольствия!

Вторая задача — учебная. С помощью учителя и библиотекаря выберите из списка два произведения, которые, на ваш взгляд, должны ярко представить оба направления, прочитайте их и обсудите в классе. Между прочим, сам процесс выбора и его критерии — тоже очень интересная тема для обсуждения.

Итак, европейский литературный континент XIX столетия.

Англия: Вальтер Скотт «Айвенго», Чарлз Диккенс «Приключения Оливера Твиста», Томас Майн Рид «Всадник без головы», Роберт Луис Стивенсон «Черная стрела», Редьярд Киплинг «Отважные капитаны», Герберт Джордж Уэллс «Человек-невидимка».

Франция: Фредерик Стендаль «Ванина Ванини», Оноре де Бальзак «Гобсек», Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери», Проспер Мериме «Таманго», Гюстав Флобер «Простое сердце», Жюль Верн «Таинственный остров», Альфонс Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», Ги де Мопассан «Возвращение».

Германия: Эрнст Теодор Амадей Гофман «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер», Генрих Гейне «Книга песен», Иоганн Вольфганг Гёте «Страдания юного Вертера».

Бельгия: Морис Метерлинк «Монна Ванна».

Путешествие по XIX веку еще не закончено. Впереди — удивительный писатель и его необычное произведение.

Оскар Уайльд

«Я был символом искусства и культуры своего века. Я понял это на заре своей юности, а потом заставил и свой век понять это» — так сказал о себе писатель, творчество которого действительно стало символом рубежа веков, в творениях которого переплелось столько, казалось бы, противоречащих друг другу взглядов, приемов, образов и символов. На примере его творчества очень наглядно представляешь себе взаимосвязь традиций и направлений, и даже национальных литератур.

Судите сами. Оскар Уайльд очень высоко отзывался о русской классике, произведениях Тургенева, Толстого, Достоевского, особенно подчеркивал их нравственную ценность. Это отношение не могло не проявиться и в его произведениях. С другой стороны, большие русские поэты начала XX века В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Н. Гумилев буквально наперебой, как будто соревнуясь друг с другом, переводят его произведения. А это значит, что в творениях английского мастера русские писатели увидели и почувствовали то, что их волновало, следовательно, было нужно и их читателям-современникам.

Все в мире литературы взаимосвязано.

Но вернемся от общих размышлений к конкретному произведению. Его представит прекрасный поэт и переводчик, литературовед, большой читатель К. И. Чуковский:

«Раскрываю его милый рассказ «Кентервильское привидение», и меня с самого начала поражает необычная тема рассказа.

Я очень часто читал о том, как привидения пугают людей, но впервые только у Оскара Уайльда мне довелось прочесть, как люди испугали привидение.

В старинный готический замок, где уже триста лет свирепствовал некий дух мертвеца, попали современные янки, и бедному призраку пришлось очень плохо: его зашвыряли подушками, его окатили водой, его до смерти испугали «привидением», сделанным из метлы и тряпки.

В этой веселой балладе Оскар Уайльд взял очень старую, банальную тему и вывернул ее наизнанку, как мы выворачиваем перчатку или чулок, перелицевал ее...»

Сразу же возникают два вопроса: как писателю это удалось? И главный — зачем?

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Материально-идеалистическая история

I

Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость, — было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя щепетильный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера Отиса.

— Нас как-то не тянуло в этот замок, — сказал лорд Кентервиль, — с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходской священник, преподобный Огастес Дэмпир, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

— Что ж, милорд, — ответил посол, — пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось

бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме¹.

— Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует, — сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, — хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио². Оно пользуется известностью добрых триста лет, — точнее сказать, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года, — и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

— Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Никаких привидений нет, сэр, и законы природы, смею думать, для всех одни — даже для английской аристократии.

— Вы, американцы, еще так близки к природе! — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время — еще под именем мисс Лукреция Р. Тэппен с 53-й Западной улицы — славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Право, ее нелегко было отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, — о чем он всегда со-

¹ *Паноптикум* — собрание уникальных предметов, редкостей.

² *Импресарио* — агент, организующий и финансирующий выступления артистов.

жалел, — был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилию в казино Ньюпорта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он питал слабость к гардениям и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони и, уговорив однажды старого лорда Билтона проскакать с ней два раза наперегонки вокруг Гайдн-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «Звезды и полосы», поскольку их без конца пороли. Поэтому милые мальчики были, не считая почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье.

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и, когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила:

— Добро пожаловать в замок Кентервилей!

Они вошли вслед за нею в дом и, миновав настоящий тюдоровский холл, очутились в библиотеке — длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату.

Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу, возле камина, и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни:

— Наверно, здесь что-то пролили?

— Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом, — здесь пролилась кровь.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Отис. — Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоят!

Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

— Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим сэром Симоном де Кентервилем. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно.

— Что за глупости! — воскликнул Вашингтон Отис. — Непревзойденный Пятновыводитель и Образцовый Очиститель Пинкертона уничтожит его в одну минуту.

И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол ма-

ленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем в минуту от пятна и следа не осталось.

— «Пинкертон» не подведет! — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.

— Какой отвратительный климат, — спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. — Наша страна-прародительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хайрам, — сказала миссис Отис, — как быть, если она чуть что примется падать в обморок?

— Удержи у нее разок из жалованья, как за битье посуды, — ответил посол, — и ей больше не захочется.

И правда, через две-три секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.

— Сэр, — сказала она, — мне доводилось видеть такое, от чего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословенье Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованье, старая домохозяйка нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.

II

Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.

— В Образцовом Очистителе сомневаться не приходится, — сказал Вашингтон. — Я его на чем только не

пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение.

И он снова вывел пятно, а наутро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намеренье вступить в общество спиритов¹, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда.

День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом мне рассказал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества: о бесспорном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; о значении Бостона для формирования мировой души; о преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге; о приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла, а о сэре Симоне де Кентервиле никто даже не заикнулся. В одиннадцать вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит —

¹ *Спириты* — люди, верящие в возможность общения с душами умерших.

с каждой минутой все отчетливей — скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно час ночи. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Станные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несессера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

— Сэр, — сказал мистер Отис, — я вынужден настоятельно просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последнее подтверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставляю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гнев бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая злое зеленое сияние и глухо стелая. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю

службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей; о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу; о старой мадам де Тремуйяк, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком мосье де Вольтером.

Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарльза Джеймса Фокса на пятьдесят тысяч фунтов и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение. Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи.

Охваченный тем чувством самоуспоения, какое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве Красного Рабена, или Младенца-удавленника, свой дебют в роли Джибона Кожа да кости, или Кровопийцы с Бекслейской Топи; припомнил и то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаунтенниса.

И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное мас-

ло и швыряют в него подушками! Такое терпеть нельзя! История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье.

III

На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли.

— Я не собираюсь обижать привидение, — сказал он, — и я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. — К сожалению, приходится добавить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. — Тем не менее, — продолжал посол, — если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии», придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.

Впрочем, до конца недели их больше не потревожили, только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирали сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу Свободной американской реформатской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах; она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась.

Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели зам-

ка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретаете лишь долгими и упорными упражнениями на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и, по калифорнийскому обычаю, скомандовал «руки вверх!». Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме кромешной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. Говорят, от него за ночь поседел парик лорда Рейкера, и этот хохот, несомненно, был причиной того, что три французских гувернантки леди Кентервиль заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что отдались звонким эхом старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

— Боюсь, вы расхворались, — сказала она. — Я принесла вам микстуру доктора Добелла. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет.

Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой — талант, который принес ему заслуженную славу и воздействием коего домашний врач объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортон. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать, и в тот момент, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали; но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он пола-

гал, что даже нынешние американцы почувствуют робость, узрев привидение в доспехах, — ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над изящной и усладительной поэзией которого он просиживал часами, когда Кентервили переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевы-девственницы. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него, и, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки.

Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, — разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу семнадцатого августа и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб, остановив наконец выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как раз по нем. План его был таков: первым делом он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса и постоит у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно он взял в обычай стирать знаменитое Кентервильское Кровавое Пятно Образцовым Пинкертоновским Очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Отис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и была красивой и доброй девочкой. Здесь можно обойтись

несколькими глухими стонами из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрюченными пальцами ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они замечались от привидевшихся кошмаров, а потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе холодного, позеленевшего трупа и будет так стоять, пока они не омертвеют от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется расхаживать по комнате, вращая одним глазом, как полагается в роли Безгласого Даниила, или Скелета-самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого Безумного Мартина, или Сокрытой Тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.

В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота, — очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну, — но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и, только пробило полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла, ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стелая, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, и храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна с фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью; мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением.

Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его, и он замер на месте, но это только собака залаяла на Красной ферме. И он продолжал свой путь, бормоча никому теперь не понятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развеивал его седые космы и свертывал в неопишимо ужасные складки его могильный саван. Проби-

ло четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол; но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижимый, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное; гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она, о грязных пороках, о диких злодействах. В поднятой правой руке его был зажат меч из блестящей стали.

Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся восвояси. Он бежал, не чуя под собою ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась бывшая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что, в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с призраком. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг — о, ужас! — голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяются метла, кухонный

нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова:

ДУХ ФИРМЫ ОТИС.

Единственный подлинный и оригинальный призрак!

Остерегайтесь подделок!

Все остальные — не настоящие!

Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели! Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что не успеет Шантеклер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепенения, и он вернулся к себе в комнату, горюя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там, у себя, он просмотрел несколько самых своих любимых книг о старинном рыцарстве и узнал из них, что всякий раз, когда произносилась эта клятва, петух пел дважды.

— Да сгубит смерть бессовестную птицу! — забормотал он. — Настанет день, когда мое копьё в твою вонзится трепетную глотку и я услышу твой предсмертный хрип.

Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты.

IV

Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начиная сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были вконец расшатаны, он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней он не выходил из комнаты и

наконец махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его. Очевидно, они жалкие материалисты, совершенно неспособные оценить символический смысл сверхчувственных явлений. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных¹ тел был, конечно, не спорим, особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенции. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что выходит фонарем в парк, и бормотать всякий вздор, и он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он, по обыкновению, от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу; надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии». Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Правда, он чувствовал себя немного униженным, но только поначалу. В конце концов благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора, а однажды, одетый для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол от входа в gobеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы.

¹ *Астральный* — звездный, мистически связанный с небесными телами.

Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего попорченного достоинства и своих прав и явиться в следующую ночь дерзким воспитанникам Итона в знаменитой роли Отважного Рупера, или Безголового Графа.

Он не выступал в этой роли более семидесяти лет, с тех пор как до того напугал прелестную леди Барбару Моудиш, что она отказала своему жениху деду нынешнего лорда Кентервиля и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на Вондсвортском лугу от пули лорда Кентервиля, а сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Танбридж-Уэллс, — так что это выступление в любом смысле имело огромный успех. Однако для этой роли требовался очень сложный грим, — если допустимо воспользоваться театральным термином применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного, или, по-научному, «естественного мира высшего порядка», — и он потратил добрых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, кстати сказать, называлась «Голубой спальней», по цвету обоев и портьер), он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо

еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.

Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов американцев и большей частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтобы не простыть, и с маленькой аркебузой¹ в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, заменившими фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Похитителя Трупов с Чертсейского Гумна, одного из своих лучших созданий. Эту роль прекрасно помнили все Кентервили, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Рафффордом. Было уже около четверти третьего, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, иступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем; окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату — грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады и каждый

¹ *Аркебуза* — фитильное ружье, заряжающееся с дула.

вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство пикник на морском берегу, — все кушанья были приготовлены из моллюсков; мальчишки увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.

Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом и, хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, — особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервиля; поутру лорда Стилтона нашли на полу ломберной разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова: «шестерка дубль». Эта история в свое время очень на шумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замаять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тэттла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина была замужем en secondes nocess¹ за монсеньером де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

¹ Вторым браком (франц.).

Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли Монах-вампира, или Бескровный Бенедиктинец, в которой решил предстать перед юным поклонником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды в роковой вечер под новый 1764 год увидела старая леди Стартап, она издала несколько истошных криков, и с ней случился удар. Через три дня она скончалась, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахином с плюмажами¹ в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.

V

Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух! Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаянье. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

¹ *Плюмаж* — украшение из перьев.

— Мне очень жаль вас, — сказала она. — Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит.

— Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, — ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним, — просто глупо! Мне положено греметь цепями, стонать в замочные скважины и разгуливать по ночам — если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования!

— Никакого смысла тут нет, и вы сами знаете, что были скверный. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену.

— Допустим, — сварливо ответил дух, — но это дела семейные и никого не касаются.

— Убивать вообще нехорошо, — сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии.

— Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм¹! Моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Ну хотя бы такое: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка, — как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать, — дело прошлое! И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом.

— Они заморили вас голодом? О господин дух, то есть, я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверно, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста!

— Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра, и вообще ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи.

— Не смейте так говорить! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой. — Сами вы противный, невоспитанный, гадкий и вульгарный, а что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисо-

¹ *Ригоризм* — суровое, непреклонное соблюдение каких-либо принципов, правил, в основе своей нравственных.

вать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше рисовать закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром; и напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навеивает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хотя и сердилась. И вообще все это просто смешно: ну где видали вы кровь изумрудного цвета?

— А что мне оставалось делать? — сказал дух, уже не пытаясь спорить. — Теперь непросто достать настоящую кровь, и поскольку твой братец пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я счел возможным воспользоваться твоими красками. А цвет, знаешь ли, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют.

— Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет, и хотя на спиртное и, наверно, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможенные пропускают без всяких. Все чиновники там — демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение — и того больше.

— Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

— Потому что там нет ничего допотопного или диковинного? — съязвила Вирджиния.

— Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного? А ваши нервы?

— Прощайте! Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.

— Не покидайте меня, мисс Вирджиния! — воскликнул дух. — Я так одинок, так несчастен! Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.

— Что за глупости! Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец сумеет.

— Триста лет я не ведал сна, — печально промолвил дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. — Триста лет я не спал, я так истомился душой!

Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое, морщинистое лицо.

— Бедный мой призрак, — прошептала она, — разве негде тебе лечь и уснуть?

— Далеко-далеко, за сосновым бором, — ответил он тихим, мечтательным голосом, — есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.

Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони.

— Это Сад Смерти? — прошептала она.

— Да, Смерти. Смерть, должно быть, прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобою колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод; воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.

И опять заговорил дух, и голос его был как вздохи ветра.

— Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

— О, сколько раз! — воскликнула девочка, вскинув головку. — Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек:

Когда заплачет, не шутя,
Здесь златокудрое дитя,
Молитва утолит печаль

И зацветет в саду миндаль —
Тогда взликует этот дом,
И дух уснет, живущий в нем¹.

Только не понимаю, что все это значит.

— Это значит, — печально промолвил дух, — что ты должна оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, Ангел Смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.

Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем.

— Я не боюсь, — сказала она решительно. — Я попрошу Ангела помиловать вас.

Едва слышно вскрикнув от радости, он поднялся на ноги, взял ее руку и, наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны как лед, губы жгли как огонь, но Вирджиния не дрогнула и не отступила, и он провел ее через полутемную залу. Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтоб она вернулась назад. «Вернись, маленькая Вирджиния! — кричали они. — Вернись!»

Но дух крепче сжал ее руку, и она закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: «Берегись, маленькая Вирджиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух скользил вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их.

Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней

¹ Перевод Р. Померанцевой.

разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

— Скорее, скорее! — крикнул дух. — Не то будет поздно.

И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.

VI

Когда минут через десять гонг зазвонил к чаю и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блэкфелский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было, и, судя по тому, что костер еще теплился и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом по дороге, ведущей в Аскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом.

— Простите меня, мистер Отис, — сказал мальчик, переводя дух, — но я не могу обедать, пока не сыщется Вирджиния. Не сердитесь, но если б в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не уеду!

Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.

— Что ж, ничего не поделаешь, — сказал он, — коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой, только надо будет купить вам в Аскоте шляпу.

— Не нужно мне шляпы! Мне нужна Вирджиния! — засмеялся маленький герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бексли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщали, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, объехав луг, повернули домой. До замка они добрались только часам к одиннадцати, усталые, разбитые, на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями: в парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане и сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славив-

пшийся карпами, обшарили каждый уголок в замке, — все напрасно. Было ясно, что в эту по крайней мере ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опустив голову, пошли к дому, а грум вел за ними обоих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги; старуха домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара что-то вдруг затрепало и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, звуки неземной музыки полились в воздухе; и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и, бледная как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Вирджиния.

В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее, маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.

— Где ты была, дитя мое? — строго спросил мистер Отис: он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. — Мы с Сеслом объехали пол-Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами.

— Дурачить можно только духа, только духа! — вопили близнецы, прыгая как безумные.

— Милая моя, родная, нашлась, слава Богу, — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны, — никогда больше не покидай меня.

— Папа, — сказала Вирджиния спокойно, — я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезной и невозмутимой. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику; Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями. Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью страшный скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковши, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

— Глядите! — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. — Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело. Светит луна, и мне хорошо видны цветы.

— Бог простил его! — сказала Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом.

— Вы ангел! — воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее.

VII

Четыре дня спустя после этих удивительных событий, за час до полуночи, из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный стаусовый султан; богатый пурпурный покров с вытканым

золотом гербом Кентервилей был брошен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей — процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Амни — без слов было ясно, что, поскольку привидение пугало ее больше пятидесяти лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, и преподобный Огастес Дэмпир с большим чувством прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервилей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Вирджиния вспомнила про Сад Смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово.

На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе — редкостный образец работы XVI века; их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их.

— Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране закон о «мертвой руке» распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и у меня нет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. Посему я прошу забрать их с собой в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при несколько необычных обстоятельст-

вах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава Богу, не слишком интересуется всякими дорожными безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне, — а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается в искусстве, — что за эти безделушки можно выручить солидную сумму. По причине вышеизложенного, лорд Кентервиль, я, как вы понимаете, не могу согласиться, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания престижа британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, непоколебимых принципах республиканской простоты. Не скрою, впрочем, что Вирджинии очень хотелось бы сохранить, с вашего позволения, шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же со своей стороны, признаться, крайне удивлен, что моя дочь проявляет такой интерес к средневековью, и способен объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теревить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис кончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку.

— Дорогой сэръ, — сказал он, — ваша прелестная дочь немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной, и если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник, самое позднее через две недели, вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату¹, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе, а об этих драгоценностях нигде

¹ *Майорат* — форма наследования имущества, при которой оно безраздельно переходит к старшему из наследников.

нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворецкого, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Вирджиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением, а тем самым к вам отошло все, что принадлежало привидению. И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние.

Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пэр остался непоколебим и в конце концов уговорил посла оставить дочери драгоценности; когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Ибо Вирджиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все благонравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным поначалу примкнул и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу, он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, «опасался, что расслабляющее влияние приверженной наслаждениям аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Но его скоро удалось уговорить, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, то во всей Англии, мне кажется, не нашлось бы человека более гордого собой.

По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию¹ для надгробия сэ-

¹ *Эпитафия* — надгробная надпись.

ра Симона и под конец решили просто вытесать там его инициалы и стихи, начертанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, немного постояв над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал:

— Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.

— А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесл.

— Нет, есть, — ответил он с улыбкой. — Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

— Я никому этого не рассказывала, Сесл, — сказала Вирджиния серьезно.

— Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

— Не спрашивай меня об этом, Сесл, я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэра Симон! Я стольким ему обязана! Нет, не смейся, Сесл, это в самом деле так. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

— Пусть эта тайна остается твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне, — шепнул он.

— Оно всегда было твоим, Сесл.

— Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям? Правда?

Вирджиния вспыхнула.



Вопросы и задания

А теперь ваша интерпретация и наши вопросы вам в помощь.

Как вы понимаете авторское определение жанра: материально-идеалистическая история?

Прав ли К. И. Чуковский, называя этот рассказ балладой?

Какие известные вам мотивы использовал автор?

Какие противоречия отражены автором в рассказе? Некоторые исследователи называют рассказ юмористическим. Согласны ли вы с таким определением? Можно ли сказать, что образ привидения является, по существу, «лакмусовой бумажкой» для определения сущности характеров героев рассказа? Главный вопрос. Зачем писатель тему привидений «вывернул наизнанку»?



Творческий практикум

Оскар Уайльд сказал: «Цель искусства — поучать развлекаая».

Принимаете ли вы такую цель искусства? Не забудьте, что свое мнение необходимо доказать.

Антон Павлович Чехов

Вот что однажды А. П. Чехову написал Максим Горький: «Вы человек, которому достаточно одного слова для того, чтобы создать образ, и фразы, чтобы сотворить рассказ, дивный рассказ, который ввертывается в глубь и суть жизни, как бурав в землю». Удивительно точное определение сути чеховского таланта, его художественного мира.

До сих пор мы с вами встречались с Чеховым — гениальным юмористом. Названия рассказов вы вспомните без труда: «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон» и др. Эти названия стали нарицательными.

Но юмористический дар — это только одна из граней таланта выдающегося писателя. Другая — проникновение в глубины философии жизни и психологии человека.

Рассказ «Студент» опубликован в 1894 году. По свидетельству современников, Чехов выделял этот рассказ среди других своих произведений, считая его наиболее совершенным по форме.

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливым лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утонуло в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье гладела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что

отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, Бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелие сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила ладонем лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светила холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.



Вопросы и задания

Почему Чехов начинает свое повествование с пейзажной зарисовки?

Какой и почему изображена природа в этом фрагменте?

Что перевешивает на чаше природных весов?

Прочитайте фрагмент, где говорится об Иване Великопольском и его мыслях по дороге домой.

Что случилось с героем, бредущим с тяги? Почему его вдруг охватило такое мрачное настроение?

Почему герой отправился к костру на вдовьих огородах?

Прочитайте описание Василисы и Лукерьи.

Что подчеркивает писатель в их внешнем облике?

Когда и почему читатель перестает замечать различие в героинях?

Какой фрагмент рассказа можно считать его кульминацией?

Кому и зачем Иван Великопольский рассказывает об апостоле Петре?

Почему студент не ожидал такой реакции слушателей?

Над чем или над кем плачет Василиса?

Прочитайте финальную часть рассказа.

Что вдруг «открылось» студенту в реакции женщин?

Как и почему изменяется настроение героя рассказа?



Творческий практикум

Правда, удивительный рассказ. Пронзительный, светлый, мастерски написанный. Как интересно композиция связана с сюжетом, какие емкие детали, как точно переданы психологические нюансы характеров героев, как ярко проявляются традиции нашей литературы. А как красиво написан! Просто настоящее художественное чудо!

Проверьте себя: напишите отзыв на только что прочитанный рассказ. Не забудьте только его перечитать!

Подумайте над вопросами: кто или что является предметом изображения в рассказе?

Какие проблемы затрагивает писатель в данном произведении?

Какие традиции русской духовной и светской литературы отчетливо прослеживаются в рассказе?

Какую роль в тексте играют евангельские мотивы?



Советы библиотеки

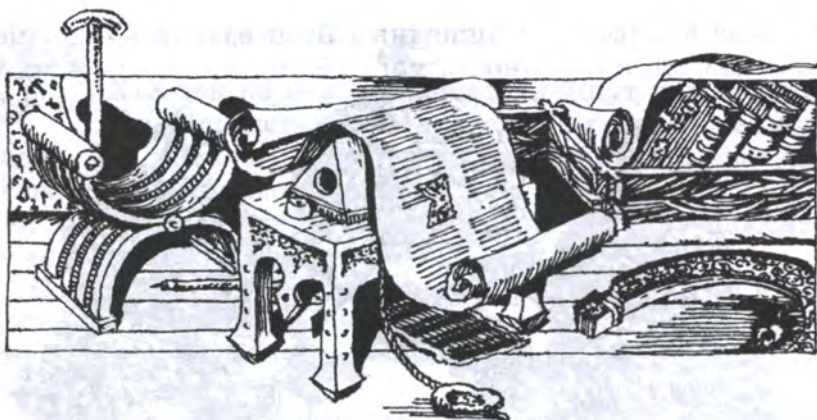
XIX век на исходе. Писатели ищут новые приемы и средства решения своих художественных задач. Но ценность русской классической литературы остается незыблемой, несмотря на яростные призывы некоторых писателей и поэтов начала XX века сбросить ее «с корабля современности».

Совесь и душу, иначе говоря, нравственность и духовность выбросить из жизни и культуры нельзя. Тогда это будет нечеловеческая жизнь и нечеловеческая культура.

Разве не об этом рассказ «Студент»? Вообще нравственные проблемы занимают основное место не только в прозе А. П. Чехова, но и в его драматургии. В десятом классе вы встретитесь с пьесой «Вишневый сад». А сейчас прочитайте «Чайку». Тем более что на страницах нашего учебника вас ждет встреча еще с одной необычайной чайкой. Прочитайте чеховскую пьесу и подумайте, почему уже почти сто лет она не сходит с театральных подмостков.



Духовная
литература



ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

История России, а значит, и ее культура неразрывно связаны с православной духовной традицией. В этом вы убедились еще раз, читая произведения А. П. Чехова.

Вы помните первые русские жития, поучения. Знаете, какую огромную роль в истории русской литературы сыграла Оптиная пустынь.

Эта традиция, слава Богу, жива и поныне. Причем, обогатив собой светскую литературу, дав ей нравственную основу, сама православная духовная литература также обогатилась открытиями литературы.

Вы сейчас познакомитесь с произведением Н. В. Гоголя и современными духовными произведениями. И думаем, что вы согласитесь с нашими выводами.

Н. В. Гоголь

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Вступление

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбь от неустроений своих, человечество отсюда, со всех концов мира взывало к Творцу своему — и пребывавшие

во тьме язычества и лишенные Боговедения — слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями зывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет Сам лицом к человекам, — предстанет не иначе, как в образе того создания Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем, по мере того как сколько-нибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков Богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир, *Им же мир бысть*; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия — не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие повеление от Бога...

— **Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)** —

СЛОВО НА СВЕТОЙ ПАСХАЛЬНОЙ СЕДМИЦЕ

Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя...

Христос воскрес!

Чадца Божии! От избытка неземной радости приветствую и я вас, опаяя силой Божественных слов: «Христос воскрес!»

Благодатный огонь этой спасительной вести, вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним, потек по миру. И Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, дарует его нам: «Христос воскрес!»

Возлюбленные о Христе братья и сестры, други мои! Вы, конечно, замечали сами, что среди многих великих и радостных наших христианских праздников особой торжественностью, особой радостью выделяется праздник Светлого Христова Воскресения — праздников праздник и торжество из торжеств.

Нет в нашей Православной Церкви службы более величественной, более проникновенной, чем пасхальная утренняя. И потому так стремятся все верующие в храм Божий в пасхальную ночь.

Пасхальное богослужение воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил всем притекающим под благодатную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием приемлет Господь тех, кто возлюбил Его всем своим существом. «Блажен, кто от первого часа делал есть», — это те, кто от юности своей идут неукоснительно по Его Божественным стопам.

Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе сомнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже преклонном возрасте. «Да не устроятся они своего замедления, Господь с любовью приемлет последнего, так же, как и первого, — и дела приемлет и намерения целует».

Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши ликовали, преисполненные чувством благодарности к нашему Господу Спасителю, за дарованную Им всем нам вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос возвел род людской от земли к Небу, придал существованию человека возвышенный и благородный смысл.

Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к светлой заутрени так стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии.

Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа, данная Богом ка-

ждому человеку при его рождении, тянется к свету необходимого Солнца Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость Воскресения Христова.

И неудивительно. Воскресение Христа — это основа нашей веры, это нерушимая опора в нашей земной жизни.

Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого учения, спасительность Своей смерти.

Воскресение Христа — это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть. Ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни.

Если бы Христос не воскрес, — говорит апостол Павел, — то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил с Собою все человечество!

Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви песнопение и сами принимаем участие в этом пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

О даровании людям этой великой радости Он просил Своего Небесного Отца в молитве перед крестными страданиями: «Освяти их истиною Твоею... чтобы они имели в себе радость Мою совершенную».

И вот, с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины, блаженства.

При Своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для верующей души слова: «Я живу, и вы будете жить», «Мир Мой даю вам», «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна».

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить.

Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения... Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним».

«Пасха, двери райские нам отверзающая», — поем мы в Пасхальном каноне.

Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении открылась наша вечная жизнь.

Наша радость пасхальная, это радость о преображении (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную. В стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте.

Мы празднуем ныне совершение величайшего таинства — Воскресения Христова, победу Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель восторжествовал над злом и тьмою. И потому так ликующе-радостно пасхальное богослужение нашей Православной Церкви.

Верующие ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней в долгие недели святой сорокадневщины. И естественно, что теперь неизъяснимой радостью наполнены их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Христова в вечной жизни, которую Он даровал всем Своим последователям. И вот уже почти 2000 лет Его последователи неколебимо верят не только в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос Спаситель много раз говорил о Себе как носителе жизни и воскресения. Но тогда эти слова Божественного Учителя были непонятны не только народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам.

Смысл этих слов стал понятен только после Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и ученики Его поняли, что Он действительно Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: «Христос воскрес!» — и будем так приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения Господня.

Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца человеческого истину о нашем бессмертии.

Христос есть Жизнь!

Он много раз говорил о Себе именно как о носителе жизни и воскресения. Как источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.

Христос воскрес! — и да возрадуется душа наша о Господе.

Христос воскрес! — и исчезает страх перед смертью.

Христос воскрес! — и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед за Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком.

Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его — дар воскресения и любви.

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.

Христос воскрес!!!

Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши души.

А мы, в ответ на это, с любовью устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его несомненно сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком.

Вот этого спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю!

Иеромонах Роман

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ

В сокращении

Пресвятая Богородице,
Всем скорбящим Утешение.
Ты избави землю Русскую
От напасти и погибели,
Церковь нашу Православную

Сохрани от всяких ересей,
Архипастырям и пастырям
Даруй, Дево, дерзновение,
Чтоб могли со всею стойкостью
Ради правды Православия
Обличать сынов погибели
И дела отца их — дьявола.

Пресвятая Богородице!
Ты Покровом покрываеши
Русь мою многотрадальную,
Русь мою многораспятую.
О, Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающим Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости,
— Не по нашему неверию.

Вижу — тучи собираются
Слышу — воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О, Заступница Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же о, Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить, как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

*Литература
XX века*





ЭПОХА ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ

«Приближался не календарный, Настоящий двадцатый век», — писала Анна Андреевна Ахматова. Прилагательное «настоящий», конечно, в этих строчках надо рассматривать как эпитет. Потому что «настоящий» — это Первая мировая война и последовавшая за ней Октябрьская революция, положившие начало нескончаемой череде подобных катастроф в XX веке. Причем катастроф не природных, а созданных человеком. Об этом очень точно пишет литературовед Е. Б. Тагер: «Вместе с тем непрерывно нарастающая поляризация враждующих сил создавала как бы предельно напряженное поле, в котором сталкивались, переплетались и взрывались резко обострившиеся конфликты поставленного на грань исторических катастроф человечества.

Тем самым с особой повелительностью встала задача создания нового искусства, способного вобрать в себя и одновременно «развязать» узлы противоречий, опутавших человеческую личность.

Такого рода задача в равной мере предстояла и реализму, вступившему в XX веке в принципиально новую фазу своего развития, и многообразным течениям, объединяемым под условным названием модернизма, или авангардизма.

Конечно, сходные задачи отнюдь не предопределяют одинаковых решений. В своих ответах на загадки века художники разных лагерей, эстетических, социальных

и политических, вступали подчас в ожесточенные бои друг с другом, не прекращающиеся, а, наоборот, обостряющиеся по сей день. Все это требует и внимательного учета, и детализированного анализа. Но, вычерчивая центральную магистраль художественного процесса XX века, нельзя забывать, что именно из динамического катастрофизма исторически переломной эпохи родились и небывалые ранее поэтические завоевания, открытия новых художественных горизонтов, и опасные симптомы распада всей человеческой художественной культуры».

Обратите внимание на то, что ученый ставит рядом два явления: «небывалые ранее поэтические завоевания» и «опасные симптомы распада всей человеческой художественной культуры».

Как вы думаете, не является ли такое соседство публицистическим преувеличением литературоведа, или вы с ним согласны? Доказывать свое мнение можно, используя примеры из всех областей художественного творчества. А возможно ли такое соседство в XVIII—XIX веках?

И последний вопрос, философский.

Как вы думаете, почему такая череда катастроф продолжалась в течение всего XX века? Если вопрос трудный и вам неинтересный, на него можно не отвечать.



ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Мы уже с вами говорили, что природа поэзии такова, что именно она, как самый чуткий барометр, первой реагирует на те изменения взглядов, настроений, переживаний, которые зреют в человеческом обществе.

В начале XX века стрелка «поэтического барометра» резко отклонилась к точке бури. Поэты почувствовали, что надвигаются такие смерчи, после которых возврата к прежнему быть не может. И это ощущение привело к изменению мироощущения авторов. Лирический герой сливается со своим создателем в единое целое. Это приводит

к тому, что эмоциональное воздействие стихов усиливается так, что порой они начинают восприниматься как живой, а не литературный крик души их создателя.

Такое эмоциональное напряжение требовало воплощения в соответствующей художественной форме. Спектр этих поисков был очень широк, литературная жизнь бурлила, как океан во время шторма: шла литературная революция.

Имена трех великих русских поэтов, которых мы вам представляем, стоят рядом не только потому, что они были современниками. Их творчество стало символом тех общественных настроений, которые привели к социальной революции, породившей, в свою очередь, революцию литературную.

Александр Александрович Блок — голос уходящей изысканно-аристократичной России и ее ценностей. **Сергей Александрович Есенин** — певец крестьянской, искренней, безыскусной, доверчивой, но тоже уходящей Руси. **Владимир Владимирович Маяковский** — поэтический глас зарождающейся пролетарской и промышленной России, ставшей Советским Союзом. Но все они плоть от плоти одной страны и одной культуры. Парадокс? Нет. Жизнь многогранна и многообразна. Но главное в ней — человек, его дух. Эта традиция русской культуры соединила их, как и любовь к России, хотя у каждого из них она была своя.

Мы предлагаем вам убедиться в этом самим и сначала просто прочитать стихи трех гениальных художников слова.

— Александр Александрович Блок —

ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ

(Картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,
И труд, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

Посмотрите, какая удивительно зримая картина создается в первых двух строчках. Возвышенная в своем великолепии и покое. А в самом конце стихотворения две пары существительных, как две стороны одной медали: «ужас» и «любовь», «правда» и «кровь».

* * *

Поэт в изгнании и в сомнении
На перепутьи двух дорог.
Ночные гаснут впечатленья,
Восход и бледен и далек.

Все нет в прошедшем указания,
Чего желать, куда идти?
И он в сомнении и в изгнании
Остановился на пути.

Но уж в очах горят надежды,
Едва доступные уму,
Что день проснется, вскроет вежды,
И даль привидится ему.

Как вы думаете, о перепутье каких двух дорог идет речь?

Как вы понимаете фразу: «в очах горят надежды, едва доступные уму»?

— Сергей Александрович Есенин —

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Представьте себе состояние, о котором можно сказать «синь сосет глаза». Представили? Вот что такое художественный образ.

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальнойю
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

«Неуютная жидкая лунность...» Какое настроение несет этот художественный образ: уныние и тоску или нежность и тихую печаль? Вслушайтесь в слово «лунность»...

И еще один вопрос: какое главное чувство испытывает лирический герой (поэт) этого стихотворения?

— Владимир Владимирович Маяковский —

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Чувствуя ваше удивление и изумление, не будем спрашивать, о чем это стихотворение. Оно о творце, способном увидеть мир иным, необычным, парадоксальным и показать его нам с вами. И если в наших глазах есть

хоть капелька любопытства и удивления, мы не можем не увидеть в обилии парадоксов этого стихотворения потрясающей силы художественные образы. Какие? Постарайтесь ответить сами.

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?

И, надрываясь,
в метелях полуденной пыли,
вывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —

не перенесет эту беззвездную муку!

А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

И снова диалог: открытый, яркий, зримый. Лирический герой обращается к нам с вами: «Послушайте!»

Почему? Потому что известно, что можно слушать, но не слышать.

Постарайтесь услышать поэта и ответить на вопрос: о ком и о чем это стихотворение?



Поэтический семинар

Вам предлагается на выбор две формы проведения семинара: художественно-поэтический и литературно-художественный. Выбирайте, что вам ближе.

Художественно-поэтический семинар

Вы учите наизусть по одному стихотворению каждого поэта. Конечно, эти стихи должны вам нравиться. Иначе теряется смысл всего семинара.

И когда вы будете читать их вслух, то покажете, используя выразительные средства поэтических текстов, что в этих стихах вас по-настоящему взволновало. А ваши слушатели пусть постараются сформулировать те чувства, которые переживают лирические герои прочитанных стихотворений.

Литературно-художественный семинар

Вам предлагаются две темы.

1. Тема Родины в художественном мире А. Блока, С. Есенина и В. Маяковского.

2. Тема любви в произведениях А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского.

Готовясь к семинару, вы должны не только подобрать стихотворения, но и показать особенности художественной образности каждого из поэтов, излюбленные приемы, мотивы. В общем, вы должны показать, как научились чувствовать и анализировать поэзию за пять лет путешествий в мир литературы.

Кстати, можете рассматривать этот семинар и как творческий практикум и как советы библиотеки, которые вы даете сами себе, выбирая из поэтического наследия этих поэтов то, что вам ближе всего.

Иван Алексеевич Бунин

Имя Ивана Алексеевича Бунина, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе, традиционно связывают с прозой. А писатель мечтал, чтобы его считали поэтом, он и вошел в литературу как поэт. Всю жизнь писал стихи, но в восприятии современников и потомков все-таки остался прозаиком. Но проза Бунина — проза поэта: в его этюдах, очерках, рассказах, даже повестях и единственном романе «Жизнь Арсеньева» чувствуется интонация поэта, лирически утонченно и взволнованно видящего мир.

Бунин-прозаик — поэт новеллы. Впечатление от его прозаических шедевров сопоставимо с тем, что остается после чтения стихов. Особенно отчетливо это понимаешь, когда читаешь поздние новеллы Бунина, составившие сборник «Темные аллеи». Созданные в эмиграции, построенные на единой теме — любви, они о России, о русских и не только о них, а о чем-то большем: о жизни и смерти, о любви и судьбе, о катастрофичности человеческого бытия. Герои новелл живут в Москве и Петербурге, путешествуют в Кисловодск и Крым, наезжают в свои имения, гостят у соседей и... вместе с тем как бы существуют вне времени и пространства.

«Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно...» — вспоминал Бунин. Так родился рассказ «Темные аллеи», давший впоследствии название целому сборнику.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темно-ликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой

рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка шурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, Боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

- Вроде этого... Боже мой, как странно!
- Что странно, сударь?
- Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому Бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг! Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни!»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные,

и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, Боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоянной горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.



Вопросы и задания

Согласны ли вы с жанровым определением «Темных аллей» — новелла? Напомним, что новеллой называется малый прозаический жанр, сопоставимый по объему с рассказом, но отличающийся от него острым сюжетом, нередко парадоксальным, в основе которого лежит случай из жизни. Однако новелла, поэтизируя эпизод, предельно обнажает ядро сюжета — центральную перипетию, сводит жизненный материал в фокус одного события.

В чем обычность и вместе с тем неожиданность сюжета «Темных аллей»?

Кто и почему избран Буниным героями рассказа? Как складывается судьба каждого из них? Что мешает Надежде простить Николая Алексеевича? Как воспоминания о первой любви повлияли на главного героя? Как писатель отвечает на вопрос, почему не сложилось счастье героев? Как на тот же вопрос отвечали предшественники Бунина? Сравните, например, финалы «Темных аллей» и «Аси» И. С. Тургенева.

Известно, что Бунин тщательно подбирал заглавия к своим рассказам, следуя принципу: ничего не объяснять, не помогать читателю, чтобы тому было над чем поломать голову. Как вы думаете, выдержан ли этот принцип применительно к «Темным аллеям»?

Вспомните, когда появляется образ «темных аллей» в рассказе. Как о них вспоминает Надежда? Николай Алексеевич? Кому или чему адресована его «недобрая улыбка»? Как передано авторское отношение к героям?

Как-то Бунин написал: «Блаженные часы проходят, и надо, необходимо... хоть что-нибудь сохранить, т. е. противопоставить смерти, отцветанию шиповника». Что же противопоставляет «отцветанию шиповника» автор и его герои?

Вспомните, в каких произведениях вам уже встречались мотивы, сходные с мотивами «Темных аллей».



Творческий практикум

Подумайте, по-разному или нет интерпретируют критики рассказ Бунина. Сходна ли их интерпретация с вашей? Ответ, естественно, должен быть развернутым и доказательным.

М. Иофьев: «Любовь людей различных сословий — тема, изначально существующая в литературе. Своеобразие «Темных аллей» в том, что в новелле нет виноватых. Крепостная девушка не смогла бы исполнить роль хозяйки петербургского дома. Герой не посылает проклятий обществу — он принимает его закон как обязательный, но закон не кажется менее беспощадным оттого, что он нерушим. Напротив, ответственность становится

не личной, а всеобщей, от нее освобождаются герои, она переходит на общественный уклад. Речь идет уже не о предрассудках — о неизбежности, не о гримасах жизни, но о существе ее. «Темные аллеи» — одно из последних в мировом искусстве, но и самых углубленных воплощений любви, заведомо неравной и бесправной. Крушение ее подготовлено (казалось бы, совсем не по-бунински) вполне определенными причинами, даже слишком определенными. Новелла почти публицистически сталкивает двух потерявших друг друга любовников.

Однако для Бунина закон общества не более жесток, чем иные, не подвластные этому закону обстоятельства. Свою жену герой любил «без памяти», но она бросила его еще более оскорбительно, чем он бросил возлюбленную. «История пошлая, обыкновенная». Не все ли равно, стать ли жертвой обычая или жертвой прихоти? Все приходит к одному финалу, и у всех в памяти лишь «темные аллеи». «Недобрая улыбка» — это грустная улыбка. Счастье — только случайность, которая на мгновение рвет железную цепь закономерности, для Бунина безразлично — общественной или психологической. Ведь в творчестве Бунина социальные мотивы почти всегда поданы как роковые и вечные».

А. Саакянц: «...Главным образом Бунина, конечно, привлекает истинная земная любовь, гармония «земли» и «неба», духовного и телесного единства. Такая любовь — огромное счастье, но счастье именно как зарница: вспыхнуло — и исчезло. Ибо любовь в «Темных аллеях» всегда очень краткосрочна; более того: чем она сильнее, совершеннее, тем скорее суждено ей оборваться. Оборваться, но не погибнуть, а осветить всю память и жизнь человека. Так, через всю жизнь пронесла свою любовь к «барину», некогда соблазнившему ее, Надежда, владелица постоялой горницы... «Молодость у всех проходит, а любовь — другое дело», — говорит она...

Такая катастрофичность положений отчасти имела своей подоплекой особенность авторского мироощущения: сознание Буниным зыбкости, преходящести и, отсюда — драматичности самой жизни (думать так у него было достаточно оснований). И любовь в этом мире оказывалась особенно хрупкой, недолговечной, обреченной...»



Библиотечный урок «Всякая любовь — великое счастье...»

«Темные аллеи», по существу, последний сборник И. А. Бунина, но мы советуем вам начать знакомство с прозой писателя именно с него. Почему? Потому что в нем обыграны известные сюжеты и образы русской литературы. Потому что, хотя все рассказы этой книги только о любви, о ее «темных» и чаще всего очень мрачных и жестоких «аллеях», нужно помнить, что «любовь есть жизнь» (Л. Толстой) и что «всякая любовь — великое счастье, даже если она не разделена» (И. Бунин).



СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ?

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.

Анна Ахматова

Долгое время женская поэзия была на задворках большой литературы, хотя женщины-поэтессы были всегда.

Анна Ахматова и Марина Цветаева заставили называть себя не поэтессами, а поэтами, без всяких скидок, без снисходительной усмешки мужчин — собратьев по поэтическому цеху, по высшему счету, который равен величию.

Поэтический дар Анны Андреевны Ахматовой окреп в атмосфере «серебряного века» русской поэзии. Так называют первую четверть XX века в истории русской литературы. «Золотой» порой называют, конечно, пушкинскую эпоху. Но если во времена Пушкина женщины в поэзии были незаметны и не обрели еще собственно-го голоса, то в следующем столетии Анна Ахматова имела полное право написать: «Я научила женщин говорить...»

О чем говорит женщина? О том, что ей близко, что составляет сущность ее жизни: о любви.

СМЯТЕНИЕ

1

Было душно от жгучего света,
А взгляды его — как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился — он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

2

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

3

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,

Полудасково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи...
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его — напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

Марина Ивановна Цветаева

Поэзия — это не что, а как. Темы женской поэзии, в сущности, неизменны: любовь-страдание, материнская любовь и оплакивание ушедших. Меняются лишь формы выражения вечных женских чувств.

Но посмотрите, как они прекрасны!

ОШИБКА

Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой — она слезинкой тает,
И возратить воздушность ей нельзя.

Когда, пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль —
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!

Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!

Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!

Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь страсть! Горя, безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, —
Но без любви мы гибнем, Чародей!

А кто такой, по-вашему, Чародей? Может быть, это пушкинский мотив?

Рожденный обречен на смерть, человек обречен на любовь. Удивительное имя дала ей Ахматова: «пятое время года»! В ахматовской и цветаевской лирике любовь — это смятение, это схватка, в которой страсть борется с гордостью, измена с верностью.

И Ахматова, и Цветаева тщательно оберегали «женскую» тональность своего голоса, а Анна Андреевна даже утверждала, что главная задача женщины-поэта в том, чтобы «полно выразить самое интимное и чудесно простое в себе и окружающем мире».

По-разному сложились человеческие судьбы Ахматовой и Цветаевой.

О Марине Ивановне очень хорошо сказала Анна Саакянц, исследователь творчества поэта:

«Смерть Поэта тоже входит в его бытие. А его бытие принадлежит Будущему.

Это Будущее уже наступило».

А жизненная и поэтическая судьба Анны Андреевны сложилась так, что она оплакала тех, кто стал жертвой революции и гражданской междоусобицы, кто исчез в мясорубке сталинского террора, а те, кто погиб в святой Отечественной войне, годились ей в сыновья. Да они и стали ее сынами. Ни одно из трагических событий русской истории XX века не обошло Ахматову, каждое зацепило ее черным крылом.

Личная трагедия поэта — плата за великую поэзию. Образ лирической героини Ахматовой вырос в образ матери-России, оплакивающей своих детей:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.



Творческий практикум

Вам предстоит поразмышлять над тем, как поэты оценивают творчество других поэтов, пусть даже признанных гениев. Мы выносим на ваше творческое обсуждение тему «Магическое слово «Пушкин». (Пушкинская тема в творчестве А. А. Ахматовой или М. И. Цветаевой.)»

Советуем обратиться не только к лирическим текстам поэтов, но и к прозаическому материалу: М. Цветаева «Мой Пушкин», А. Ахматова «Слово о Пушкине».



Советы библиотеки

Мы предлагаем, чтобы вы сами посоветовали своим одноклассникам прочитать понравившиеся вам лирические произведения Анны Андреевны Ахматовой и Марины Ивановны Цветаевой. Надеемся, что вам понадобится пролистать не один томик стихов, чтобы дать советы.

— Михаил Афанасьевич Булгаков —

«Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»

Эти слова из «Капитанской дочки» Михаил Булгаков поставил эпиграфом к своему первому роману «Белая гвардия». Роман рассказывает о жизни семьи Турбиных в конце 1918 — начале 1919 года в охваченном Гражданской войной городе. Осью, вокруг которой вращается все действие, центром притяжения всех героев, прибежищем от революционных бурь, лютого холода и житейских невзгод, островком уюта, душевной теплоты и любви становится Дом Турбиных. Именно так, с большой буквы — Дом. Здесь, посреди кровавой мути «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», звучит рояль,

натоплена печь, светит как спасительный маяк лампа под зеленым абажуром, шоколадными рядами выстроились старые книги... Роман Булгакова автобиографичен. В Городе легко угадывается Киев. В Доме Турбиных по Алексеевскому спуску — дом № 13 по Андреевскому спуску, дом Булгаковых. В семье Турбиных — семья писателя.

И над всем романом, над Домом, над семьей Турбиных реет дух «Капитанской дочки». Здесь ее прочитали в детстве, научились беречь честь смолоду, раз и навсегда поняли, что нельзя бегать «крысьей побежкой», что «честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете».

Эти «старомодные» убеждения Булгаков вынес из Дома и пронес через всю свою высокую и скорбную жизнь и не изменил им ни разу.

Выпускник медицинского факультета Киевского университета, военный врач, начинающий журналист, Булгаков в начале 20-х годов приезжает в Москву, чтобы стать настоящим писателем. И он им стал, несмотря на то что лучшие его произведения так и не были напечатаны при его жизни — ни повесть «Собачье сердце», ни роман «Мастер и Маргарита», ни другие... Не вписывался Булгаков в официальную литературу своего времени, как не вписывались его представления о чести, призвании русского писателя в новую мораль: «Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя».

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Чудовищная история

В сокращении

1

У-у-у-у-у-гу-гу-гу-гу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипят-

ком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве во-ем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужели же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — гри-бы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек пор-ция. Это дело на любителя — все равно что калошу ли-зать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смо-таться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, нали-жешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кру-гу при луне — «милая Аида», — так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Ку-шано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, гражда-не, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу

я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрам-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, провалилась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалевшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по гла-

зам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, — больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая ло-

шадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме¹. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что же делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние, и подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — бери! Шарик, Шарик!

Опять «Шарик!» Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что, — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пылливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— Ага, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, — он пощелкал пальцами, — фить-фить!

За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботинками в рыло, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал

¹ Моссельпром — Московский трест по переработке продуктов сельского хозяйства.

в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный, котбродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзвидел при мысли, что богатый чужак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взобрался по трубе до второго этажа.

Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чужак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить, фить, сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулочек.

— Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе¹!

— Да не бойся ты, иди!

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышем с золотыми галуна-

¹ *Позумэнт (галун)* — золотая или серебряная тесьма, отделки.

ми. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу — почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так. Целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?

— Да ничего-с!

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

— Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...

Иду-с, поспешаю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся вниз, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.



«НОВЫЙ МИР» И «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Чем лучше я узнаю людей,
тем больше люблю собак.

Генрих Гейне

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Повесть «Собачье сердце» написана в 1925 году. Рукопись была изъята при обыске на квартире Булгакова в 1926 году. Впервые опубликована за границей в 1968-м, в СССР — в 1987 году.

Почему так труден был путь повести к читателю? На этот вопрос поможет ответить донос осведомителя ОГПУ, который присутствовал при чтении Булгаковым своей повести в кругу литераторов. Вот фрагменты из этого донесения.

«Был на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной... Читал Булгаков свою новую повесть». Далее агент передает сюжет повести, особенно останавливаясь на эпизоде разговора профессора Преображенского с депутацией домкома, на монологе профессора о разрухе, передает его высказывания о терроре («Нельзя, нельзя никого бить. Это — террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить.») и советских газетах («Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же «Правду»). «Примеров, — продолжает слушатель-агент, — можно было бы привести еще великое множество, примеров тому, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.

Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомыс-

ленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит...

Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов сто первого сорта на заседаниях Всероссийского Союза Поэтов... Содержание финальной части сводится приблизительно к следующему: очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем, все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления...»

Насколько проницателен доносчик? Точно ли он уловил идею повести?

ЭКСПЕРИМЕНТ

Железная воля и фанатическая вера. Воля к разрушению старого, вера в создание нового мира и человека — вот чем проникнут был всероссийский эксперимент, начатый в феврале—октябре 1917 года. Но подготовлен он был значительно раньше...

Эксперимент начинался с нуля. Старое отбрасывалось прочь, умирало или уничтожалось. Наука билась над секретом вечной молодости. Веру в Бога заменила вера в светлое будущее, где не может быть голода, денег, болезней, смерти. Железная рука вела человечество к счастью.

Но кто создавал этот «новый мир» и «новых людей»? Те, кто рос и жил «до семнадцатого года», и даже те из них, кто ужасался результатами революции и гражданской войны, коллективизации и репрессий 20—30-х годов. Они не могли не понимать, что приложили руку к разрушению старого, к выведению нового, «советского

человека», кто сочувствием «страдальцам за народное счастье», кто просто безучастием.

Религиозный философ, современник автора «Собачьего сердца», Сергей Николаевич Булгаков писал о «новых людях», сформированных революцией: «Товарищи кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — homo socialisticus».



Вопросы и задания

Как сам профессор Преображенский объясняет цель и результаты своего эксперимента? В чем видит он социальные и нравственные уроки этой фантастической истории?

Понятно, что Булгакову симпатичен профессор, а не Шариков. Но во всем ли согласен автор с Преображенским? Каков взгляд писателя на природу человека, на возможности ее улучшения?

Почему Шарикову так быстро и успешно удастся сделать служебную карьеру?

Можно ли считать идею повести «антисоветской», по мнению осведомителя ОГПУ, или она глубже?

Иногда кажется, что повесть названа ошибочно. Сам Преображенский говорит: «Весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце». Какое же значение вложил Булгаков в эпитет «собачье» в названии произведения?

Кто выступает рассказчиками в повести? Зачем Булгакову понадобилось несколько рассказчиков? Почему в роли повествователя выступает пес Шарик, но не Шариков?

А теперь задания исследовательского характера

Повесть «Собачье сердце» имеет очень точную хронологию. Проследите ее. С какими православными праздниками совпадают рождение и смерть Шарикова? Как с этой точки зрения высвечивается символика повести?

Определите ключевые литературные мотивы в произведении, покажите их связь с традициями Свифта.

Какие образы повести, на ваш взгляд, стали нарицательными, то есть приобрели характер символа определенного человеческого типа?



Творческий практикум

Ниже приведены высказывания критиков, интерпретирующих повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Они, а также предлагаемые нами вопросы и задания помогут вам взглянуть на повесть «чужими глазами» и определить свою точку зрения. Обратите внимание, как трактуются два основных образа — профессора Преображенского и Шарикова.

В. Боборыкин: «И вот этот-то консерватор-профессор, категорически отвергающий революционную теорию и практику переустройства мира, вдруг сам оказывается в роли революционера.

Новый строй стремится из старого «человеческого материала» сотворить нового человека. Филипп Филиппович, словно соревнуясь с ним, идет еще дальше: он намерен сделать человека, да еще и высокой культуры и нравственности, из собаки. «Лаской, исключительно лаской». И разумеется, собственным примером.

Результат известен. Попытки привить Шарикову элементарные культурные навыки встречают с его стороны стойкое и все возрастающее сопротивление...

Швондер уже взял над Шариковым шефство и воспитывает, парализуя все профессорские воспитательные усилия, на свой лад. Никакой культурой это дитя эксперимента он не обременяет, а программу ему вдалбливает в высшей степени привлекательную: кто был ничем, тот станет всем. Не догадывается Швондер, как не догадывались другие многочисленные маленькие и большие швондеры, что эта программа, помноженная на интеллектуальные и нравственные данные шариковых, может сыграть злую шутку не только с интеллигентами типа Преображенского и Борменталья, но и с ним самим.

И открывается читателю, что тот процесс, который нечаянно спровоцировал и которым безуспешно пытается руководить Филипп Филиппович, без всяких медико-биологических экспериментов давно совершается в самой действительности».

Е. Яблоков: «Реализовав идею бессмертия, профессор ни на шаг не продвинулся к «улучшению человеческой природы», о которой, собственно, и заботился... Придать человекоподобный образ собаке оказалось куда проще, чем «очеловечить» Клима Чугункина».

А. Карпов: «В облике, манерах, наконец, в речи профессора Преображенского обнаруживает себя старомодная учтивость, воспитанность, уважительное, то есть подлинно-демократичное отношение к окружающим...

Для Булгакова Шариков — фигура не только нелепая, вызывающая смех, но и зловещая. В его претензиях к Преображенскому обнаруживает себя уверенность в том, что именно он, а не какой-то там ученый интеллигентшишка является, как тогда выражались, трудовым элементом и потому должен быть хозяином жизни. Шариков, в отличие от бесконечно много работающего и добывающегося фантастических результатов профессора Преображенского, менее всего склонен трудиться, создавать: он из породы потребителей.

Стоит повторить: это не индивидуальные свойства его натуры, хотя они унаследованы от рецидивиста и алкоголика Клима Чугункина, чей гипофиз был пересажен симпатичному псу по кличке Шарик. Шариков усваивает господствовавшие в послереволюционную эпоху представления о структуре общества, о месте в нем различных классов, сословий, слоев. Усваивает он и расхожую фразеологию. Более того, находит в словах Преображенского контрреволюционность, называет его меньшевиком, — обвинения эти походят на донос и могут дорого стоить профессору. А за этими словами — весьма распространенное в мире, который сразу же стал для Шарикова своим, желание присвоить себе то, чем по праву владеет другой.

Желание это подогревают у Шарикова сумевшие уже обрести определенную и реальную власть члены домко-

ма во главе со Швондером. Социальная демагогия, которой они владеют великолепно, приходится по вкусу таким, как Шариков, ложится в основание их претензий на исключительное положение в обществе.

...Привить ему (Шарикову) приличные манеры, наверное, можно, но перестроить психологию, в особенности социальную, едва ли удастся: она находит объяснение и питательную почву в системе господствующих в обществе понятий и представлений. Ни созидать, ни размышлять Шарикову нет нужды — он лишь озабочен идеей дележа, а в собственном невежестве видит достоинство: оно для него служит свидетельством не замутненной чистоты классового сознания».

Б. Соколов: «Автор «Собачьего сердца» предвидел, что шариковы легко могут сжить со свету не только преображенных, но и швондеров. Сила Полиграфа Полиграфовича — в его девственности в отношении совести и культуры. Профессор Преображенский грустно пророчествует, что в будущем найдется кто-то, кто натравит Шарикова на Швондера, как сегодня председатель домкома натравливает его на Филиппа Филипповича».

Итак, чья точка зрения вам ближе? С какой хотелось бы поспорить? Выскажите свое мнение в эссе «Уроки эксперимента».



Советы библиотеки

Михаил Афанасьевич Булгаков очень любил театр, и сам писал прекрасные пьесы. Очень советуем вам прочитать одну из двух пьес: «Дни Турбиных» или «Бег», посвященных людям, чьи судьбы были искалечены в период революционного разлома России. Этой же теме посвящена и блестящая повесть Алексея Николаевича Толстого «Похожение Невзорова, или Ибикус». Наверное, трудно почувствовать себя настоящим гражданином России, не поняв ту трагедию, которую пережила страна. Так что читайте.



«НЕПОНЯТНАЯ» ПОЭЗИЯ

В. В. Маяковский писал: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». А О. Э. Мандельштам в письме к Ю. Н. Тынянову так выражает эту же мысль: «...в последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно».

Видите, какая странная, почти парадоксальная ситуация получается: стремление быть услышанным, свойственное любому поэту, соединяется почти с боязнью быть понятным «решительно всем».

На самом деле никакого парадокса нет. Поэт сам решает, для кого он пишет. Это связано с его мироощущением. И если его образность, гармония и мелодия его стиха близка вам, он становится вашим поэтом, если же нет, значит, диалог не состоялся.

Поэзию Бориса Леонидовича Пастернака и Осипа Эмилевича Мандельштама воспринимать неподготовленному читателю трудно. Один из критиков, говоря о творчестве Пастернака, писал так: «Читатели встретились с поэтом совсем особого склада. Чтобы понять его, нужно было сделать над собой некоторое усилие, в известном смысле перестроить привычный способ понимания. Его манера воспринимать и самый словарь казались сначала неприемлемыми, удивительными, и назойливые вопросы о «непонятности», о том, «как это может быть», долго сопровождали появление каждой книги». С полным правом это же можно сказать и о стихах Мандельштама.

Поэтому давайте вместе «перестроим» привычный способ понимания и приложим определенные усилия для того, чтобы увидеть истинную поэзию в таких непонятных на первый взгляд строчках.

Вы привыкли, что мы предлагаем сначала познакомиться с авторским текстом, а потом вместе поразмышлять над ним. Здесь мы поступим иначе.

Представьте себе горящую свечу. Какое чувство у вас вызывает этот образ? А теперь вспомните, что в духовной традиции свеча — это образ души. А жизнь души — это любовь. И если душа чистая, светлая, как снег, то и любовь будет такой же. Вот теперь начинайте читать и слушать мелодию стихотворения.

Борис Леонидович Пастернак

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошकारа
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

— Осип Эмильевич Мандельштам —

Смысловой строй этого стихотворения таков, что решающую роль в нем приобретает один образ. Образ века-зверя. Он «незаметно окрашивает все другие — это ключ для всей иерархии образов».

А каков был XX век, особенно его первая половина, вы уже знаете. Теперь посмотрите, каким этот век видится лирическому герою.

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли, —

Снова в жертву, как ягненка,
Тема жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горячей рыбой плещет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

Правда, ужасная картина. Но самое страшное в ней, по очень точному замечанию А. Морозова, — «...тяжелый путь, мучительнейшее вхождение (лирического героя. — *Авт.*) в новое уже, безысторическое и обездуховленное, состояние времени». Вот оно самое страшное — бездуховность времени.

А теперь давайте задумаемся, отвечает ли автор в своем стихотворении на вопрос: что делает человека бездуховным — время или сам человек?

Этот вопрос действительно очень сложный еще и потому, что каждый человек отвечает на него самостоя-

тельно. И каков будет ответ, возможно, во многом будет зависеть и то, какую жизнь человек проживет.

В этом мы с вами убедимся, познакомясь со следующим художественным произведением.

— Михаил Александрович Шолохов —

«Глаза человека — зеркало его души». Не случайно очень многие писатели, создавая образ своего героя, непременно обратят внимание на его глаза.

Давайте проведем небольшой эксперимент. Мы дадим описание глаз литературного героя, а вы, представив себе героя по этому описанию, подумаете, каково может быть его мироощущение: безысходная трагичность или победившая трагедию сила духа.

Итак, «высокий сутуловатый» человек, глаза которого «словно присыпаны пеплом» и наполнены «неизбывной смертной тоской».

Вы ответили? А теперь проверьте свою проницательность, прочитав рассказ одного из крупнейших писателей XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено разыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищами выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, переме-

шанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, выдавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреновой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, су-

нув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю, так и идем с ним вразброд, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. — Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разубеждать его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана зашитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, ка-

кая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротнo: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью,

их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом недостатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому все-

гда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легкости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как Бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; посмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошное — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все

трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немножко деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаша от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутного умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки, легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются?! Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь

осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вонь много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легкости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток,

везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае срок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша двадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало пахнуть жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как

встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело — понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков, — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежать помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным, кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упав я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные

наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит, и пухнет, и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больней будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смиренный парень. А рука у тебя не разбита, а

выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет? Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступить в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал,

что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлжности. «Нет, — думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный: «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с таким толстым меринком. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежащего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил это Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само со-

бою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Вздвонный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай напелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам поглядываю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про за-пас — и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рваньё. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как

хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и делится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черте где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадет, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои

носить было не под силу. А работу давай и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навывкате. По-русски говорил как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет пе-

ред строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так и далее. Аккуратный был, гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почему зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подует... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а полагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки

с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услышал эти слова — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко подняв комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врасстяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Хотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет,

обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: то в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе — и мне кусок кинет, как собаке. В руки ни-

когда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцать. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем, как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, от-

крыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и ткнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинуд на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои чертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попорили пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж

к полковнику как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдать: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай Бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что

еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полкой водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сержки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до мес-

та, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапятаков», имеет шесть орденов и медали. Словом, обшталовал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденках. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало

меня, будто электрическим током, потому что почувал я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключались на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, ко-

нечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему виду, голодный. Высунул я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздыхает. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жметесь ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял в руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забежали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай Бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку,

сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть-ся, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму: с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и перевернулся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то при-молчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А поче-

му ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командировемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться — слезает с меня и бегом сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит

и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу слышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек неsgiбаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...



Вопросы и задания

Зачем автору без видимых причин понадобилось заставлять своего героя рассказывать историю своей жизни незнакомому человеку?

Какова роль пейзажа в создании образа главного героя? Зачем автор использует композиционный прием «рассказ в рассказе»?

Какова функция образа автора-повествователя?

Какое значение с точки зрения художественной идеи имеет образ Ванюшки?

Почему в названии рассказа автор использует вместо имени героя обобщающее слово «человек»?

Каким вам видится образ времени в этом рассказе?

Литературоведы, определяя жанр этого произведения, говорят, что это рассказ-эпопея. Как вы понимаете это определение?



Творческий практикум

Вы знаете, что мир литературы — это особый, вымышленный мир, создаваемый писателем-творцом. Но писатель, как мы уже с вами убедились, привносит в него многое из реального мира, окружающего его. Но реальность каждый автор видит по-своему.

Мы видели восприятие века в образе зверя, но рядом другое понимание жизни — дух крепче всех бед и несчастий. Вы помните вопрос о бездуховности времени и человека? А сейчас в продолжение этой темы мы предлагаем вам вместе обсудить проблему: «Жизнь и судьба — это синонимы или самостоятельные понятия?» Для обстоятельного разговора вам нужно вспомнить ранее прочитанные произведения.



Советы библиотеки

Великая Отечественная война унесла около тридцати миллионов жизней. Война была тяжелейшим историческим испытанием народа. Кровь, смерть, разруха — итог бедствий. Но рядом — величие челове-

ского духа, самопожертвование, искренность, чистота и надежда.

Много книг написано об этой войне. Их надо читать. Начните с повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».



Библиотечный урок *Современная русская проза*

Что такое русская литературная школа? Давайте вспомним ее самые существенные черты. «...Главное есть все-таки взгляд писателя на жизнь, не на жизнь вообще, а на ту, которая помимо его собственной судьбы приобретает под пером писателя еще и судьбу литературную, которая, по-прежнему оставаясь жизнью вполне реальной, становится жизнью духовной, прежде всего для народа, на языке которого эта духовность выражена тем или иным писателем», — считает Сергей Залыгин.

Что еще очень важно? Конечно, искренний художественный и человеческий интерес к самому простому и обыкновенному человеку, который по сути своей является основой жизни, и стремление понять его.

Нельзя не отметить и то, что в традициях русской литературной школы — взгляд на мир, жизнь, человека в связи с многовековым опытом существования народа, прежде всего нравственный. А такой взгляд ведет к особой совестливости произведений, которая никогда не превращается в морализаторство.

Одним из вершинных художественных явлений этой школы второй половины XX века стала проза трех больших русских писателей: В. Г. Распутина, В. И. Белова и В. П. Астафьева.

Прочитайте хотя бы одно из трех наиболее известных произведений этих авторов и подумайте, почему образы таких простых людей, как Иван Африканыч или Игнатьевич приобрели общенациональное культурное и нравственное значение. Возможно, вам удастся показать преемственность мотивов.

В. Г. Распутин. «Прощание с Матёрой».

В. И. Белов. «Привычное дело».

В. П. Астафьев. «Царь-рыба» (рассказ, а не все повествование).

Поистине непредсказуемы судьбы книг и их творцов. Кто бы мог подумать, что дальний потомок гениального немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, американский летчик, пишущий романы, которые почти никого не интересуют, вдруг создаст произведение, ставшее мировым бестселлером.

В 1970 году, когда повесть-притча Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» увидела свет, вокруг нее возникло много легенд и загадок. Одна из загадок, над которой бились критики: почему произведение, на их взгляд, достаточно обычное с точки зрения мотивов, авторских приемов, хочет читать так много людей и как долго сохранится эта волна интереса.

Эта притча, философская сказка, поэма в прозе (видите, как много жанровых определений дает критика) перед вами.

Надеемся, что вам будет интересно ее читать.

ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН

Повесть-притча

Невыдуманному Джонатану-Чайке, который живет в каждом из нас.

Часть первая

Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплескали на едва заметных волнах спокойного моря.

В мире от берега с рыболовного судна забросили сети с приманкой, весть об этом мгновенно донеслась до Стаи, ожидавшей завтрака, и вот уже тысяча чаек слетелась к судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. Еще один хлопотливый день вступил в свои права.

Но вдали от всех, вдали от рыболовного судна и от берега в полном одиночестве совершала свои тренировочные полеты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на сто футов в небо, Джонатан опустил перепон-

чатые лапы, приподнял клюв, вытянул вперед изогнутые дугой крылья и, преодолевая боль, старался удерживать их в этом положении. Вытянутые вперед крылья снижали скорость, и он летел так медленно, что ветер едва шептал у него над ухом, а океан под ним казался недвижимым. Он прищурил глаза и весь обратился в одно-единственное желание: вот он задержал дыхание и чуть... чуть-чуть... на один дюйм... увеличил изгиб крыльев. Перья взъерошились, он совсем потерял скорость и упал.

Чайки, как вы знаете, не раздумывают во время полета и никогда не останавливаются. Остановиться в воздухе — для чайки бесчестье, для чайки это — позор.

Но Джонатан Ливингстон, который, не стыдясь, вновь выгибал и напрягал дрожащие крылья — все медленнее, медленнее и опять неудача, — был не какой-нибудь заурядной птицей.

Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное — еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете. Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать.

Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой.

Он, например, не понимал, почему, летая на высоте, меньшей полуразмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался не обычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, оставляемый на песке, его родители, естественно, встревожились не на шутку.

— Почему, Джон, почему? — спрашивала мать. — Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости.

— Ну и пусть, мама, от меня остались перья да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать.

— Послушай-ка, Джонатан, — говорил ему отец без тени недоброжелательности. — Зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Если тебе непременно хочется учиться, изучай пищу, учись ее добывать. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть.

Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные, старался изо всех сил: пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба. Но у него ничего не получалось.

«Какая бессмыслица, — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!»

И вот уже Джонатан снова один далеко в море — голодный, радостный, пытливый.

Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете.

Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в крутое пикирование, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость.

Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление.

Подъем на тысячу футов. Мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и отвесное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувырком через правое крыло входил в штопор.

Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал десять попыток, и десять раз, как только скорость превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый комок взъерошенных перьев и камнем летел в воду.

Все дело в том, понял наконец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, а потом держать в одном положении.

Он поднялся на две тысячи футов и попытался еще раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек!

Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный неодолимый вихрь, он мчал его со скоростью девяносто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду.

Когда он пришел в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено.

Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей Стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть, — жалкая, слабая чайка».

Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью — место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для нас всех».

Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил.

«Но нет, — подумал он. — Я отказался от жизни, я отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на сто футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой.

Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет Стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.

— *Темнота!* — раздался вдруг тревожный глухой голос. — *Чайки никогда не летают в темноте!*

Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он. — Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно...»

— Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы! У тебя была бы не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие крылья сокола!

Там, в ночи, на высоте ста футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение — от них не осталось и следа.

Короткие крылья. Короткие крылья сокола!

Вот в чем разгадка! «Какой же я дурак! Все, что мне нужно, — это крошечное, совсем маленькое крыло; все, что мне нужно, — это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. *Короткие крылья!*»

Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы — перо к перу — и вошел в отвесное пики.

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее! Сейчас, при скорости сто сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами как пушечное ядро, серое при свете луны.

Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. «Сто сорок миль в час! Не теряя управления! Если я начну пикировать с пяти тысяч футов, а не с двух, интересно, с какой скоростью...»

Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Но он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых — заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения.

На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты пяти тысяч футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а Стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок.

Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости, он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев — маленькие уголки! — ветру и бросился в море. Пролетев четыре тысячи футов, Джонатан достиг предельной скорости, ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла

ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью двести четырнадцать миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков... Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутненная красота.

На высоте тысячи футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром, судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь.

Он не умел останавливаться, он даже не знал, как повернуть на такой скорости.

Столкновение — мгновенная смерть.

Он закрыл глаза.

Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости двести четырнадцать миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу Стаи за завтраком. Но Чайка удачи на этот раз улыбнулась ему — никто не погиб.

В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью сто шестьдесят миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до двадцати миль и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии четырех тысяч футов позади него и казалось точкой на поверхности моря.

Он понимал, что это триумф! Предельная скорость! *Двести четырнадцать миль в час* для чайки! Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории Стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки, он складывал крылья и пикировал с высоты восемь тысяч футов и скоро научился делать повороты.

Он понял, что на огромной скорости достаточно на дюйм изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что, если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джона-

тан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.

В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками; солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж.

Была уже глухая ночь, когда Джонатан подлетел к Стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но, снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. «Когда они услышат об этом, — он думал о Прорыве, — они обезумеют от радости. Насколько полнее станет теперь жизнь! Вместо того чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами — знать, зачем живешь! Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! *Мы научимся летать!*»

Будущее было заполнено до предела, оно сулило столько заманчивого!

Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался Совет; видимо, они собирались уже довольно давно. На самом деле они ждали.

— Джонатан Ливингстон! Выйди на середину!

Слова Старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор, или величайшую честь. Круг Чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну конечно, — подумал он, — утро, Стая за завтраком, они видели Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождем. Я хочу только поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперед.

— Джонатан Ливингстон, — сказал Старейший, — выйди на середину, ты покрыл себя Позором перед лицом твоих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они ошиблись, они ошиблись!

— ...своим легкомыслием и безответственностью, — текла торжественная речь, — тем, что попрад достоинство и обычаи Семьи Чаек...

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговора жить в одиночестве на Дальних Скалах.

— ...настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватает сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана нарушил тишину.

— Безответственность? Собратья! — воскликнул он. — Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чем значение, в чем высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...

Стая будто окаменела.

— Ты нам больше не Брат, — хором нараспев проговорили чайки, величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами.

Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетал на много миль от Дальних Скал. И не одиночество его мучало, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть!

Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине десяти футов; он больше не нуждался в рыболовных судах и в черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог пролететь сотни миль от заката до восхода солнца. С таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу... в то самое время, когда другие чайки

жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко в глубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых.

Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со Стаей, он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек: ее съедают скука, страх и злоба, но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую счастливую жизнь.

А потом однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, которое он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около крыльев, сияли, как звезды, и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но еще удивительнее было их мастерство: они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм между своими и его крыльями.

Не проронив ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полета резко замедлилась: еще на милю в час меньше — и падение неизбежно. Две сияющие птицы, не нарушая дистанции, плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно!

Он сложил крылья, качнул из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью сто девяносто миль в час. Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй.

Наконец, он на той же скорости перешел в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним.

Он перешел в горизонтальный полет, некоторое время летел молча, а потом сказал:

— Прекрасно. — И спросил: — Кто вы?

— Мы из твоей Стаи, Джонатан, мы твои братья. — Они говорили спокойно и уверенно. — Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой.

— Дома у меня нет. Стаи у меня нет. Я Изгнанник. Мы летим сейчас на вершину Великой Горы Ветров. Я могу поднять свое дряхлое тело еще на несколько сот футов, но не выше.

— Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую.

Эти слова сверкали перед ним всю его жизнь, поэтому Джонатан понял, понял мгновенно. Они правы. Он *может* летать выше, и ему *пора* возвращаться домой.

Он бросил последний долгий взгляд на небо, на эту великолепную серебряную страну, где он так много узнал.

— Я готов, — сказал он наконец.

И Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя чайками, яркими, как звезды, и исчез в непроницаемой темноте неба.

Часть вторая

«Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился.

Теперь, когда он расстался с Землей и поднялся над облаками крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало все тому же молодому Джонатану, который всегда жил за зрачками его золотистых глаз, но внешне оно переменялось.

Оно осталось телом чайки, и все-таки никогда прежде Джонатану не леталось так хорошо. «Как странно, — думал он, — я трачу вдвое меньше усилий, а лечу вдвое быстрее, я в силах сделать вдвое больше, чем в мои лучшие дни на Земле!»

Его белые перья сверкали и искрились, а крылья стали безукоризненно гладкими, как отполированные серебряные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать силу своих мускулов к этим новым крыльям.

Достигнув скорости двести пятьдесят миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полета. Достигнув двухсот семидесяти трех миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. Возможности его нового тела тоже были ограничены, правда, ему уда-

лось значительно превысить свой прежний рекорд, но предел все-таки существовал, и чтобы его превзойти, нужны были огромные усилия. «На небесах, — думал он, — не должно быть никаких пределов».

Облака расступились, его провожатые прокричали: — Счастливой посадки, Джонатан! — и исчезли в прозрачном воздухе.

Он летел над морем к изрезанному гористому берегу. Пять-шесть чаек отрабатывали взлеты на скалах. Далеко на севере, у самого горизонта, летало еще несколько чаек. Новые дали, новые мысли, новые вопросы. «Почему так мало чаек? На небесах должны быть стаи и стаи чаек. И почему я вдруг так устал? На небесах чайки как будто никогда не устают и никогда не спят».

Где он об этом слышал? События его земной жизни отодвигались все дальше и дальше. Он многому научился на Земле, это верно, но подробности припоминались с трудом: кажется, чайки дрались из-за пищи и он был Изгнанником.

Когда он приблизился к берегу, дюжина чаек взлетела ему навстречу, но ни одна из них не проронила ни слова. Он только чувствовал, что они рады ему и что здесь он дома. Этот день был очень длинным, таким длинным, что он успел забыть, когда взошло солнце.

Он развернулся, чтобы приземлиться, взмахнул крыльями, застыл в воздухе на высоте одного дюйма и мягко опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но им для этого достаточно было лишь слегка шевельнуть перьями. Они раскрыли свои белоснежные крылья, покачались на ветру и, меняя положение перьев, остановились в то самое мгновение, когда их лапы коснулись земли. Это был прекрасный маневр, но Джонатан слишком устал, чтобы попробовать его повторить. Он все еще не произнес ни слова и заснул, стоя на берегу.

В первые же дни Джонатан понял, что здесь ему предстоит узнать о полете не меньше нового, чем он узнал в своей прежней жизни. Но разница все-таки была. Здесь жили чайки-единомышленники. Каждая из них считала делом своей жизни постигать тайны полета, стремиться к совершенству полета, потому что полет — это то, что

они любили больше всего на свете. Это были удивительные птицы, все без исключения, и каждый день они час за часом отрабатывали технику движений в воздухе и испытывали новые приемы пилотирования.

Джонатан, казалось, забыл о том мире, откуда он прилетел, и о том месте, где жила Стая, которая не знала радостей полета и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу. Но иногда он вдруг вспоминал.

Он вспомнил о родных местах однажды утром, когда остался вдвоем со своим наставником и отдыхал на берегу после нескольких быстрых бочек, которые он делал со сложными крыльями.

— Салливан, а где все остальные? — спросил он беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приемами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились. — Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили...

— ...тысячи тысяч чаек. Я знаю. — Салливан кивнул. — Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты, — редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гири на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

— Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой, — продолжал он, — что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь.

И вот они уже снова поднялись в воздух, тренировка возобновилась. Сделать бочку вдвоем трудно, потому что в перевернутом положении Джонатану приходилось, летя вверх лапами, соображать, как выгнуть крылья, чтобы выполнить оставшуюся часть оборота, сохраняя безупречную согласованность движений со своим учителем.

— Попробуем еще раз, — снова повторял Салливан. — Попробуем еще раз. — И наконец: — Хорошо!

Тогда они начали отрабатывать внешнюю петлю.

Однажды вечером чайки, которые не улетели в ночной полет, стояли все вместе на песке, они думали. Джонатан собрался с духом и подошел к Старейшему — чайке, которая, как говорили, собиралась вскоре расстаться с этим миром.

— Чианг... — начал он, немного волнуясь.

Старая чайка ласково взглянула на него:

— Что, сын мой?

С годами Старейший не только не ослабел, а, наоборот, стал еще сильнее, он летал быстрее всех чаек в Стае и владел в совершенстве такими приемами, которые остальные еще только осваивали.

— Чианг, этот мир... это вовсе не небеса?

При свете луны было видно, что Старейший улыбнулся.

— Джонатан, ты снова учишься, — сказал он.

— Да. А что ждет нас впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места — небеса?

— Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса — это достижение совершенства. — Он помолчал. — Ты, кажется, летаешь очень быстро?

— Я... я очень люблю скорость, — сказал Джонатан. Он был поражен — и горд! — тем, что Старейший заметил его.

— Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь тысячу миль в час, или миллион, или научиться летать со скоростью света. Потому что любая цифра — это предел, а совершенство не знает пре-

дела. Достигнуть совершенной скорости, сын мой, — это значит оказаться там.

Не прибавив ни слова, Чианг исчез и тут же появился у кромки воды, в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез и через тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном.

— Это просто шутка, — сказал он.

Джонатан не мог прийти в себя от изумления. Он забыл, что хотел расспросить Чианга про небеса.

— Как это тебе удастся? Что ты чувствуешь, когда так летишь? Какое расстояние ты можешь пролететь?

— Пролететь можно любое расстояние в любое время, стоит только захотеть, — сказал Старейший. — Я побывал всюду и везде, куда проникала моя мысль. — Он смотрел на морскую гладь. — Странно: чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествий, не улетают никуда; где им, копушам! А те, кто отказывается от путешествий во имя совершенства, летают по всей вселенной, как метеоры. Запомни, Джонатан, небеса — это не какое-то определенное место или время, потому что ни место, ни время не имеют значения. Небеса — это...

— Ты можешь научить меня так летать?

Джонатан дрожал, предвкушая радость еще одной победы над неведомым.

— Конечно, если ты хочешь научиться.

— Хочу. Когда мы начнем?

— Можно начать сейчас, если ты не возражаешь.

— Я хочу научиться летать, как ты, — проговорил Джонатан, и в его глазах появился странный огонек. — Скажи, что я должен делать.

Чианг говорил медленно, зорко вглядываясь в своего молодого друга.

— Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать куда хочешь, — начал он, — нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел...

Суть дела, по словам Чианга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, будто он узник своего тела с размахом крыльев в сорок два дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять: его истин-

ное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени.

Джонатан тренировался упорно, ожесточенно, день за днем, с восхода солнца до полуночи. И несмотря на все усилия, ни на перышко не сдвинулся с места.

— Забудь о вере! — твердил Чианг. — Разве тебе нужна была вера, чтобы научиться летать? Тебе нужно было понять, что такое полет. Сейчас ты должен сделать то же самое. Попробуй еще раз...

А потом однажды, когда Джонатан стоял на берегу с закрытыми глазами и старался сосредоточиться, он вдруг понял, о чем говорил Чианг. «Конечно, Чианг прав! Я сотворен совершенным, мои возможности безграничны, я — Чайка!» Он почувствовал могучий прилив радости.

— Хорошо! — сказал Чианг, и в его голосе прозвучало торжество.

Джонатан открыл глаза. Они были одни — он и Старейший на совершенно незнакомом морском берегу: деревья подступали к самой воде, над головой висели два желтых близнеца — два солнца.

— Наконец-то ты понял, — сказал Чианг, — но тебе нужно еще поработать над управлением...

Джонатан не мог прийти в себя от изумления:

— Где мы?

Необычайный пейзаж не произвел на Старейшего никакого впечатления, как и вопрос Джонатана.

— Очевидно, на какой-то планете с зеленым небом и двойной звездой вместо солнца.

Джонатан испустил радостный клич — первый звук с тех пор, как он покинул Землю.

— ПОЛУЧАЕТСЯ!

— Разумеется, Джон, разумеется, получается, — сказал Чианг. — Когда знаешь, что делаешь, всегда получается. А теперь об управлении...

Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана, в их золотистых глазах застыл ужас: они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности.

Но Джонатан недолго принимал их поздравления.

— Я здесь новичок! Я только начинаю! Это мне надо учиться у вас!

— Как странно, Джон, — сказал Салливан, стоявший рядом с ним. — За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась с таким же бесстрашием, как ты.

Стая молчала. Джонатан в смущении переступал с лапы на лапу.

— Если хочешь, мы можем начать работать над временем, — заговорил Чيانг, — и ты научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы летать ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь.

Прошел месяц или около месяца, Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперед даже с помощью обычных тренировок, но сейчас, под руководством самого Старейшего, он воспринимал новое, как обтекаемая, покрытая перьями вычислительная машина.

А потом настал день, когда Чيانг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться, и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, а его перья становились все ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него.

— Джонатан, — сказал он, и это были его последние слова, — постарайся постигнуть, что такое любовь.

Когда к чайкам вернулось зрение, Чيانга с ними уже не было.

Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он все чаще думает о Земле, которую покинул. Знай он там одну десятую, одну сотую того, что узнал здесь, насколько полнее была бы его жизнь! Он стоял на песке и думал: что если там, на Земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба. Быть может, она даже решилась сказать об этом во всеуслышание, и

Стая приговорила ее к Изгнанию. И чем больше Джонатан упражнялся в проявлении доброты, чем больше он трудился над познанием природы любви, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю. Потому что, несмотря на свое одинокое прошлое, Джонатан был прирожденным наставником, и его любовь проявлялась прежде всего в стремлении поделить добытой им правдой с каждой чайкой, которая ждала только благоприятного случая, чтобы тоже ринуться на поиски правды.

Салливан, который за это время вполне овладел полетами со скоростью мысли и уже помогал другим, не одобрял замыслов Джонатана.

— Джон, тебя некогда приговорили к Изгнанию. Почему ты думаешь, что те же чайки захотят слушать тебя сейчас? Ты знаешь поговорку и знаешь, что она справедлива: *чем выше летает чайка, тем дальше она видит*. Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле, они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за тысячу миль от небес, а ты говоришь, что хочешь показать им небеса — оттуда, с земли! Да ведь они, Джон, не могут разглядеть концов своих собственных крыльев. Оставайся здесь. Помогай здесь новым чайкам, помогай тем, кто взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть то, о чем ты хочешь им рассказать. — Он немного помолчал и добавил: — Что, если бы Чианг вернулся в свой старый мир? Где бы ты сам находился сегодня?

Последний довод был самым убедительным: конечно, Салливан прав. *Чем выше летает чайка, тем дальше она видит*.

Джонатан остался и занимался с новыми птицами, которые прилетали на небеса; они все были очень способными и быстро усваивали то, что им объясняли. Но к нему вернулось прежнее беспокойство, он не мог избавиться от мысли, что на Земле, наверное, живут одна-две чайки, которые тоже могли бы учиться. Насколько больше знал бы он сейчас, появившись Чианг рядом с ним в те дни, когда он был Изгнанником!

— Салли, я должен вернуться, — сказал он в конце концов. — У тебя прекрасные ученики. Они помогут тебе справиться с новичками.

Салливан вздохнул, но не стал возражать.

— Боюсь, Джонатан, что я буду скучать по тебе. — Вот и все, что он сказал.

— Салли, как тебе не стыдно! — с упреком воскликнул Джонатан. — Разве можно говорить такие глупости! Чем мы с тобой занимаемся изо дня в день? Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит, мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время! Но, преодолевая пространство, единственное, что мы покидаем, — это Здесь. А преодолевая время, мы покидаем только Сейчас. Неужели ты думаешь, что мы не сможем повидаться один-два раза где-нибудь в промежутке между тем, что называется Здесь и Сейчас?

Салливан невольно рассмеялся.

— Ты совсем помешался, — сказал он ласково. — Если кто-нибудь в силах показать хоть одной живой душе на земле, как охватить глазом тысячу миль, это наверняка Джонатан Ливингстон. — Он смотрел на песок. — До свидания, Джон, до свидания, друг.

— До свидания, Салли. Мы еще встретимся.

Произнеся эти слова, Джонатан тут же увидел внутренним взором огромные стаи чаек на берегах другого времени и с привычной легкостью ощутил: нет, он не перья да кости, он — совершенное воплощение идеи свободы и полета, его возможности безграничны.

Флетчер Линд был еще очень молодой чайкой, но он уже знал, что не было на свете птицы, которой пришлось бы терпеть такое жестокое обращение Стаи и столько несправедливостей!

«Мне все равно, что они говорят, — думал он, направляясь к Дальним Скалам; он кипел от негодования, его взгляд помутился. — Летать — это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже... даже *комар*. Какая-то одна бочка вокруг Старейшей Чайки, просто так, в шутку, и я — Изгнанник! Что они, слепы? Неужели они не видят? Неужели они не понимают, как мы прославимся, если в самом деле научимся летать?»

Мне все равно, что они обо мне думают. Я покажу им, что значит летать. Пусть я буду одиноким Изгнанником, если им так хочется. Но они пожалеют об этом, еще как пожалеют...»

Голос проник в его голову, и хотя это был очень тихий голос, Флетчер так испугался, что вздрогнул и застыл в воздухе:

— Не сердись на них, Флетчер! Изгнав тебя, они причинили вред только самим себе, и когда-нибудь они это узнают, когда-нибудь они увидят то, что видишь ты. Прости их и помоги им понять.

На расстоянии дюйма от конца его правого крыла летела ослепительно белая, самая белая чайка на свете, она скользила рядом с Флетчером без малейших усилий, не шевеля ни перышком, хотя Флетчер летел почти на предельной скорости.

На мгновение у молодого Флетчера все смешалось в голове.

«Что со мной происходит? Я сошел с ума? Я умер? Что это значит?»

Негромкий спокойный голос вторгся в его мысли и требовал ответа.

— Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?

— ДА, Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ!

— Чайка Флетчер Линд, так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить Стаю и учиться и однажды вернуться к ним и постараться помочь им узнать то, что знаешь сам?

Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать, какой бы гордой птицей ни был Флетчер, как бы сильно его ни оскорбили.

— Да, — сказал он едва слышно.

— Тогда, Флетч, — обратилось к нему сияющее создание с ласковым голосом, — давай начнем с Горизонтального Полета...

Часть третья

Джонатан медленно кружил над Дальними Скалами; он наблюдал. Этот неотесанный молодой Флетчер оказался почти идеальным учеником. В воздухе он был

сильным, ловким и подвижным, но главное — он горел желанием научиться летать.

Только что он мелькнул рядом — с оглушительным шумом взъерошенный серый комок вынырнул из пике и пронесся мимо учителя со скоростью сто пятьдесят миль в час. Внезапный рывок, и вот он уже выполняет другое упражнение — шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку — и считает витки вслух:

— ...восемь... девять... десять... ой, Джонатан, я выхожу за пределы скорости... одиннадцать... я хочу останавливаться так же красиво и точно, как ты... двенадцать... черт побери, я никак не могу сделать... тринадцать... эти последние три витка... без... четырн... а-а-а-а!

Очередная неудача — Флетчер «сел на хвост» — вызвала особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину, и его безжалостно закрутило и завертело в обратном штопоре, а когда он, наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух, оказалось, что он летит на сто футов ниже своего наставника.

— Джонатан, ты попусту тратишь время! Я тупица! Я болван! Я зря стараюсь, у меня все равно ничего не получится!

Джонатан взглянул вниз и кивнул.

— Конечно, не получится, пока ты будешь останавливаться так резко. В самом начале ты потерял сорок миль в час! Нужно делать то же самое, только плавно! Уверенно, но плавно, понимаешь, Флетчер?

Джонатан снизился и подлетел к молодой чайке.

— Попробуем еще раз вместе, крыло к крылу. Обрати внимание на остановку. Останавливайся плавно, начинай фигуру без рывков.

К концу третьего месяца у Джонатана появилось еще шесть учеников — все шестеро Изгнанники, увлеченные новой странной идеей: летать ради радостей полета.

Но даже им легче было выполнить самую сложную фигуру, чем понять, в чем заключается сокровенный смысл их упражнений.

— На самом деле каждый из нас воплощает собой идею Великой Чайки, всеобъемлющую идею свободы, — говорил Джонатан по вечерам, стоя на берегу, — и безошибочность полета — это еще один шаг, приближаю-

щий нас к выражению нашей подлинной сущности. Для нас не должно существовать никаких преград. Вот почему мы стремимся овладеть высокими скоростями, и малыми скоростями, и фигурами высшего пилотажа...

...А его ученики, измученные дневными полетами, засыпали. Им нравились практические занятия, потому что скорость пьянила и потому что тренировки помогали утолять жажду знания, которая становилась все сильнее после каждого занятия. Но ни один из них — даже Флетчер Линд — не мог себе представить, что полет идей — такая же реальность, как ветер, как полет птицы.

— Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого, — снова и снова повторял Джонатан, — это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело...

Но какие бы примеры он ни приводил, ученики воспринимали его слова как занятную выдумку, а им больше всего хотелось спать.

Хотя прошел всего только месяц, Джонатан сказал, что им пора вернуться в Стаю.

— Мы еще не готовы! — воскликнул Генри Кэлвин. — Они не желают нас видеть! Мы Изгнанники! Разве можно навязывать свое присутствие тем, кто не желает тебя видеть?

— Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы, — ответил ему Джонатан; он поднялся в воздух и повернул на восток, к родным берегам, где жила Стая.

Несколько минут ученики в растерянности не знали, что делать, потому что Закон Стаи гласил: «Изгнанники никогда не возвращаются», и за десять тысяч лет этот Закон ни разу не был нарушен. Закон говорил: оставайтесь; Джонатан говорил: полетим; и он уже летел над морем в миле от них. Если они задержатся еще немного, он встретится с враждебной Стаей один на один.

— Почему мы должны подчиняться закону, если нас все равно изгнали из Стаи? — растерянно спросил Флетчер. — А если завяжется бой, от нас будет гораздо больше пользы там, чем здесь.

Так они прилетели в то утро с запада — восемь чаек в строю двойным ромбом, почти касаясь крыльями друг друга. Они пересекли Берег Совета Стаи со скоростью сто тридцать пять миль в час: Джонатан впереди, Флетчер плавно скользил у его правого крыла, а Генри Кэлвин отважно боролся с ветром у левого. Потом, сохраняя строй, они все вместе медленно накренились вправо... выровнялись... перевернулись вверх лапами... выровнялись, а ветер безжалостно хлестал всех восьмерых.

Обыденные громкие ссоры и споры на берегу внезапно стихли, восемь тысяч глаз уставились, не мигая, на отряд Джонатана, как будто чайки увидели гигантский нож, занесенный над их головами. Восемь птиц одна за другой взмыли вверх, сделали мертвую петлю и, сбавив скорость до предела, не качнувшись, опустились на песок. Затем Джонатан как ни в чем не бывало приступил к разбору ошибок.

— Начнем с того, — сказал он с усмешкой, — что вы все заняли свое место в строю с некоторым опозданием...

Одна и та же мысль молнией облетела Стаю. Все эти птицы — Изгнанники! И они — вернулись! Но это... этого не может быть! Флетчер напрасно опасался драки: Стая оцепенела.

— Подумаешь, Изгнанники, конечно, Изгнанники, ну и пусть Изгнанники! — сказал кто-то из молодых. — Интересно, где это они научились так летать?

Прошел почти час, прежде чем все члены Стаи узнали о Приказе Старейшего: *Не обращать на них внимания*. Чайка, которая заговорит с Изгнанником, сама станет Изгнанником. Чайка, которая посмотрит на Изгнанника, нарушит Закон Стаи.

С этой минуты Джонатан видел только серые спины чаек, но он, казалось, не обращал внимания на то, что происходит. Он проводил занятия над Берегом Совета и впервые старался выжать из своих учеников все, на что они были способны.

— Мартин! — разносился по небу его голос. — Ты говоришь, что умеешь летать на малой скорости. Говорить мало, это надо еще доказать. ЛЕТИ!

Незаметный маленький Мартин Уильям так боялся вызвать гнев своего наставника, что, к собственному изумлению, научился делать чудеса на малой скорости.

Он располагал перья таким образом, что при малейшем ветерке поднимался до облаков и опускался на землю без единого взмаха крыльев.

А Чарльз-Роланд поднялся на Великую Гору Ветров на высоту двадцать четыре тысячи футов и спустился, посиневший от холодного разреженного воздуха, удивленный, счастливый и полный решимости завтра же подняться еще выше.

Флетчер, который больше всех увлекался фигурами высшего пилотажа, одолел шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку, а на следующий день превзошел самого себя: сделал тройной переворот через крыло, и ослепительные солнечные зайчики разбежались по всему берегу, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз.

Джонатан ни на минуту не разлучался со своими учениками, каждому из них он успевал что-то показать, подсказать, каждого — подстегнуть и направить. Он летал вместе с ними ночью, и при облачном небе, и в бурю — летал из любви к полетам, а чайки на берегу тоскливо жалась друг к другу.

Когда тренировки кончались, ученики отдыхали на песке, и со временем они научились слушать Джонатана более внимательно. Он был одержим какими-то безумными идеями, которых они не понимали, но некоторые его мысли были им вполне доступны.

Ночами позади кружка учеников постепенно начал образовываться еще один круг: в темноте любопытные чайки долгими часами слушали Джонатана, и, так как ни одна из них не хотела видеть своих соседей и не хотела, чтобы соседи видели ее, перед восходом солнца все они исчезали.

Прошел месяц после Возвращения, прежде чем первая Чайка из Стаи переступила черту и сказала, что хочет научиться летать. Это был Терренс Лоуэлл, который тут же стал проклятой птицей, заклеяменным Изгнанником... и восьмым учеником Джонатана.

На следующую ночь от Стаи отделился Кэрк Мейнард; он проковылял по песку, волоча левое крыло, и рухнул к ногам Джонатана.

— Помоги мне, — проговорил он едва слышно, будто собирался вот-вот расстаться с жизнью. — Я хочу летать больше всего на свете...

— Что ж, не будем терять время, — сказал Джонатан, — поднимайся вместе со мной в воздух — и начнем.

— Ты не понимаешь. Крыло. Я не могу шевельнуть крылом.

— Мейнард, ты свободен, ты вправе жить здесь и сейчас так, как тебе велит твое «я», твое истинное «я», и ничто не может тебе помешать. Это Закон Великой Чайки, это — Закон.

— Ты говоришь, что я могу летать?

— Я говорю, что ты свободен.

Так же легко и просто, как это было сказано, Кэрк Мейнард расправил крылья — без малейших усилий! — и поднялся в темное ночное небо. Стая проснулась, услащав его голос; с высоты пяти тысяч футов он прокричал во всю силу своих легких:

— *Я могу летать! Слушайте! Я МОГУ ЛЕТАТЬ!*

На восходе солнца почти тысяча чаек толпилась вокруг учеников Джонатана и с любопытством смотрела на Мейнарда. Им было безразлично, видят их или нет, они слушали и старались понять, что говорит Джонатан.

Он говорил об очень простых вещах: о том, что чайка имеет право летать, что она свободна по самой своей природе и ничто не должно стеснять ее свободу — никакие обычаи, предрассудки и запреты.

— Даже если это Закон Стаи? — раздался голос из толпы чаек.

— Существует только один истинный закон — тот, который помогает стать свободным, — сказал Джонатан. — Другого нет.

— Разве мы можем научиться летать, как ты? — доносился до Джонатана другой голос. — Ты особенный, ты талантливый, ты необыкновенный, ты не похож на других.

— Посмотри на Флетчера! На Лоуэлла! На Чарльза-Роланда! На Джади Ли! Они тоже особенные, тоже талантливые и необыкновенные? Не больше, чем ты, и не

больше, чем я. Единственное их отличие, одно-единственное отличие состоит в том, что они начали понимать, кто они, и начали вести себя, как подобает чайкам.

Его ученики, за исключением Флетчера, беспокойно задвигались. Они не были уверены, что дело обстоит именно таким образом.

Толпа росла с каждым днем, чайки прилетали, чтобы расспросить, высказать восхищение, поиздеваться.

— В Стае говорят, что ты Сын Великой Чайки, — сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после Тренировочных Полетов на Высоких Скоростях, — а если нет, значит, ты определил свое время на тысячу лет.

Джонатан вздохнул. «Цена непонимания, — подумал он. — Тебя называют дьяволом или богом».

— Как ты думаешь, Флетч? Опередили мы свое время? Долгая пауза.

— По-моему, такие полеты были возможны всегда, просто кто-нибудь должен был об этом догадаться и попробовать научиться так летать, а время здесь ни при чем. Может быть, мы опередили моду. Опередили привычные представления о полете чаек.

— Это уже кое-что, — сказал Джонатан, перевернулся через крыло и некоторое время скользил по воздуху вверх лапами. — Это все-таки лучше, чем опередить время.

Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приемы скоростного полета группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз семь тысяч футов — длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом, — когда на его пути оказался птенец, который совершал первый полет и призывал свою маму. У Флетчера Линда была лишь десятая доля секунды, чтоб попытаться избежать столкновения, он резко отклонился влево и на скорости более двухсот миль в час врезался в гранитную скалу.

Ему показалось, что скала — это огромная кованая дверь в другой мир. Удушающий страх, удар и мрак, а потом Флетчер поплыл по какому-то странному, странному небу, забывая, вспоминая и опять забывая; ему было страшно, и грустно, и тоскливо, отчаянно тоскливо.

Голос донесся до него, как в первый раз, когда он встретил Джонатана Ливингстона.

— Дело в том, Флетчер, что мы пытаемся раздвигать границы наших возможностей, постепенно, терпеливо. Мы еще не подошли к полетам сквозь скалы, по программе нам предстоит заняться этим немного позже.

— Джонатан!

— Которого называют также Сыном Великой Чайки, — сухо отозвался его наставник.

— Что ты здесь делаешь? Скала! Неужели я не... разве я не... умер?

— Ох, Флетчер, перестань! Подумай сам. Если ты со мной разговариваешь, очевидно, ты не умер, так или нет? У тебя просто резко изменился уровень сознания, только и всего. Теперь выбирай. Ты можешь остаться здесь и учиться на этом уровне, который, кстати, не намного выше того, на котором ты находился прежде, а можешь вернуться и продолжать работать со Стаей. Старейшины надеялись, что случится какое-нибудь несчастье, но они не ожидали, что оно произойдет так своевременно.

— Конечно, я хочу вернуться в Стаю. Я ведь только начал заниматься с новой группой!

— Прекрасно, Флетчер. Ты помнишь, мы говорили, что тело — это не что иное, как мысль?

Флетчер покачал головой, расправил крылья и открыл глаза: он лежал у подножья скалы, а вокруг толпился Стая. Когда чайки увидели, что он пошевелился, со всех сторон послышались злые пронзительные крики:

— Он жив! Он умер и снова *жив*!

— Прикоснулся крылом! Оживил! Сын Великой Чайки!

— Нет! Говорит, что не сын! Это дьявол! ДЬЯВОЛ! Явился, чтобы погубить Стаю!

Четыре тысячи чаек, перепуганные невиданным зрелищем, кричали: ДЬЯВОЛ! — и этот вопль захлестнул стаю, как бешеный ветер во время шторма. С горящими глазами, с плотно сжатыми клювами, одержимые жадой крови, чайки подступали все ближе и ближе.

— Флетчер, не лучше ли нам расстаться с ними? — спросил Джонатан?

— Пожалуй, я не возражаю...

В то же мгновение они оказались в полумиле от скалы, и разящие клювы обезумевших птиц вонзились в пустоту.

— Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна, — недоумевал Джонатан, — ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?

Флетчер все еще мигал, он никак не мог освоиться с переменной обстановки.

— Что ты сделал? Как мы здесь очутились?

— Ты сказал, что хочешь избавиться от обезумевших птиц, — верно?

— Да! Но как ты...

— Как все остальное, Флетчер. Тренировка...

К утру Стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл:

— Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к Стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?

— Конечно.

— Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя.

— Ох, Флетч! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Интересно, когда ты, наконец, это поймешь?

Я, кстати, вспомнил сейчас об одной вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линд. Не так давно, когда этого самого Флетчера приговорили к Изгнанию, он был готов биться насмерть со всей Стаей и создал на Дальних Скалах настоящий ад для своего личного пользования. Тот же Флетчер создает сейчас свои небеса и ведет туда всю Стаю.

Флетчер обернулся к Джонатану, и в его глазах промелькнул страх.

— Я веду? Что означают эти слова: я веду? Здесь ты наставник. Ты не можешь нас покинуть!

— Не могу? А ты не думаешь, что существуют другие стаи и другие Флетчеры, которые, может быть, нужда-

ются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету?

— Я? Джон, ведь я обыкновенная чайка, а ты...

— ...единственный Сын Великой Чайки, да? — Джонатан вздохнул и посмотрел на море. — Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя — вот что тебе нужно, старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он — твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит.

Мгновенье спустя тело Джонатана дрогнуло и начало таять в воздухе, его перья засияли каким-то неверным светом.

— Не позволяй им болтать про меня всякий вздор, не позволяй им делать из меня бога, хорошо, Флетч? Я — чайка. Я люблю летать, может быть...

— ДЖОНАТАН!

— Бедняга Флетч! Не верь глазам своим! Они видят только преграды. Смотреть — значит понимать, осознай то, что уже знаешь, и ты научишься летать.

Сияние померкло. Джонатан растворился в просторах неба.

Прошло немного времени, Флетчер заставил себя подняться в воздух и предстал перед группой совсем зеленых новичков, которые с нетерпением ждали первого урока.

— Прежде всего, — медленно проговорил он, — вы должны понять, что чайка — это воплощение идеи безграничной свободы, воплощение образа Великой Чайки, и все ваше тело, от кончика одного крыла до кончика другого — это не что иное, как ваша мысль.

Молодые чайки насмешливо поглядывали на него. «Ну, ну, приятель, — думали они, — вряд ли это объяснение поможет нам сделать мертвую петлю».

Флетчер вздохнул.

— Хм. Да... так вот, — сказал он и окинул их критическим взглядом. — Давайте начнем с Горизонтального Полета.

Произнеся эти слова, Флетчер вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нем самом.

«Предела нет, Джонатан? — подумал он. — Ну что же, тогда недалеко час, когда я вынырну из поднебесья на твоём берегу и покажу тебе кое-какие новые приемы полета!»

И хотя Флетчер старался смотреть на своих учеников с подобающей суровостью, он вдруг увидел их всех такими, какими они были на самом деле, увидел на мгновение, но в это мгновение они не только понравились ему — он полюбил их всех. «Предела нет, Джонатан?» — подумал он с улыбкой. И ринулся в погоню за знаниями.



Вопросы и задания

Каков жанр этого произведения? Это не столько литературоведческий, сколько читательский вопрос. Ведь от того, как вы сами определите жанр, будет во многом зависеть ваша интерпретация.

Есть ли в произведении евангельские мотивы? Если есть, то назовите их. А сказочные мотивы сможете назвать?

Как вы думаете, для чего автор соединяет мир живых существ и мир неживой материи: чайку и фигуры высшего пилотажа как точное определение скорости?

Какой, по-вашему, смысл в трехчастной композиции этого произведения?

Почему только у чаек-изгнанников человеческие имена?



Творческий практикум

Перечитайте эпиграф и подумайте, удалось ли автору раскрыть заключенную в нем мысль. И отрицательные и утвердительные ответы доказываются текстом притчи.



Советы библиотеки

Тем, кого заинтересовала неоромантическая зарубежная литература XX века, стоит прочитать повесть «Барьер» болгарского писателя П. Вежинова.

*Прошлое,
настоящее,
будущее*





ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?

Мы с вами вместе уже почти пять лет: путешествуем, читаем, размышляем, открываем что-то новое в мире и в себе. Время идет, меняются ваши представления, взгляды, интересы, одним словом, вы — взрослеете. И, конечно, задумываетесь над очень серьезными проблемами: кто я? в чем смысл моей жизни? что меня ждет в будущем?

Все эти проблемы удивительным образом связаны как между собой, так и с нашим представлением о времени и с нашей оценкой прошлого, настоящего и будущего. Труднопонимаемая мысль? Ну что ж, нам с вами не привыкать к преодолению трудностей.

Итак, зададим себе вопрос: а что такое время? Кто-то из вас ответит, что это минуты, часы, сутки и т. д. И конечно, будет прав, но с одним уточнением: это астрономическое время. А если мы с вами о какой-то ситуации говорим «еще не время», то что это значит? Не прошло еще сколько-то часов или недель, а может лет? Или говорим: «уже поздно» о ситуации, которую сейчас уже невозможно изменить. Что мы имеем в виду, снова дни и часы или что-то другое? Нет, в этом случае мы имеем в виду осознание нами времени как цепочки переживаний, действий, событий их длительности, сменяемости.

Вспомним рассказ А. П. Чехова «Студент». «Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет

отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям...

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое — думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Время — это форма существования человека, когда понятия прошлого, настоящего и будущего настолько тесно переплетаются и вытекают одно из другого, что понять себя настоящего без себя прошлого бывает невозможно, точно так же, как и представить себя будущего без себя настоящего. А время как форма существования человека, народа, человечества отражается, вернее, оценочно закрепляется в искусстве, и прежде всего в художественной литературе.

Именно поэтому читатель, знакомясь с художественными явлениями, переживает и оценивает прошедшее время как бы с двух точек зрения: позиции автора и позиции своего настоящего времени, в котором он живет.

Таким образом получается, что человек осознает себя через литературу и тем самым отвечает себе на свои вечные вопросы бытия, т. е. создает свою интерпретацию времени.

Вот мы с вами и подошли к важнейшей проблеме: времени как формы человеческого бытия, отраженной в художественной литературе.

Мы уже не раз говорили, что настоящий читатель — не тот, кто читает, а тот, кто перечитывает. Потому что самые чудесные произведения мировой и русской литературы не открывают своих чудес сразу. Более того, при первом чтении они могут показаться неинтересными, тяжелыми, непонятными. Не отчаивайтесь. Для начала спросите себя: если весь мир читает эти книги, то чем я хуже этого мира? Ведь не случайно же перед самой смертью А. С. Пушкин, обратив глаза на свою библиотеку, произнес: «Прощайте, друзья».

Действительно, хорошая книга как хороший друг. Книга не умеет изменять, она — навсегда. И еще она об-

ладает секретом вечной новизны. Потому что она, как увеличительное стекло, собирающее в себе солнечный свет, концентрирует и делает осязаемым время: прошлое, настоящее, будущее.

Нельзя, сказал философ, дважды войти в одну и ту же реку. Он имел в виду, что все меняется: и река, и человек. И вновь открывая книгу, встречаясь со старыми знакомыми литературными героями, мы, сами того не замечая, открываем другую книгу и встречаемся с другими героями — потому что изменились мы сами. Повзрослели, приобрели жизненный, читательский опыт. И теперь мы видим то, что было скрыто от нас в произведении год, пять, десять лет назад. И обращаем внимание на то, что было незаметно или просто неинтересно.

Как говорит старая истина: труден первый шаг. Нам предстоит сделать три шага. Трудных.

Вас ждут три великих произведения русской литературы: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Мы не хотим, чтобы вы «прошли» эти книги. Мы хотим, чтобы вы вошли в них. И поэтому читать их мы будем два раза — в девятом и десятом классах. Вернее, читать будем в девятом, а в десятом — перечитывать. Первое чтение будет вводным, или, как принято говорить, обзорным.

Вы уже привыкли к тому, что сначала мы рассказываем что-то о произведении, потом вы его читаете и обсуждаете. Но в этом разделе мы с вами изменим последовательность нашей работы. Мы будем ставить проблему времени и героя, а вы читать произведение и обсуждать его, тем самым готовясь ко второму его прочтению и очень глубокому осмыслению, которое ждет вас.

Такое изменение связано с тем, что произведения, с которыми вы сейчас встретитесь, настолько важны для формирования духовного мира человека, настолько велики в своем художественном совершенстве, настолько неотделимы от понятия «русская культура», что не прочитать их — есть великое преступление против своего настоящего и будущего, а не перечитать их хотя бы один-два раза — сознательно лишить себя удовольствия дышать свежим горным воздухом взамен душливого смога.

Видите, обращаясь к прошлому, потому что эти произведения XIX века, находясь в настоящем, вы готовите свое будущее.

И последнее напутствие дает вам пушкинист начала XX века Михаил Осипович Гершензон: «Всякую содержательную книгу надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что написано по-русски... В Пушкине есть места, «куда еще не ступала нога человеческая», места труднодоступные и неведомые. Виною в том не его темнота, а всеобщий навывк читать «по верхам», поверхностно. Но кто отважится пойти пешком, тот проникает всюду и во всяком случае увидит много любопытного».

— Александр Сергеевич Пушкин —

«Евгений Онегин» — самое долгое по времени написания художественное произведение А. С. Пушкина. Работа с перерывами шла с 1823 по 1831 год. Когда в середине февраля 1825 года в лавку петербургского издателя и книгопродавца Ивана Васильевича Сленина поступила в продажу первая глава (роман выходил в свет по мере написания, главами), мало кто мог угадать истинный масштаб свершившегося события. Этой небольшой книжке было предпослано авторское предисловие: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено... Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года...»

Все ждали продолжения, «но никто, — пишет известный современный пушкинист В. С. Непомнящий, — не подозревал истинной роли его в русской культуре, в национальном самосознании. Быть может, и сам автор не представлял себе вполне, что, начиная роман в стихах «Евгений Онегин», он закладывает основание великой русской литературы, ставит проблему, которая окажется для этой литературы центральной, определяющей направление ее постоянных поисков».

Какую же проблему имеет в виду литературовед?

Чтобы ответить на этот вопрос, читая роман, ответьте себе на другие, внешне гораздо более простые вопросы: «Евгений Онегин» — это про что? про поиски смысла жизни? про творчество? про любовь? про время? и о ком? о Евгении Онегине? о Татьяне? а может быть, о самом авторе? или еще о ком-то?

Читайте роман глава за главой, обращайтесь внимание на эпиграфы, думайте, идите вслед за автором, доверьтесь ему и постарайтесь ответить на те вопросы, которые он сам поставил перед нами почти два века назад. Только читая, помните слова Пушкина: «Пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах

Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire.

Tiré d'une lettre particuliere¹

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собрание пестрых глав,

¹ Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. *Из частного письма (франц.).*

Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Это вступление к роману, которое, наверняка, подвигнет вас отложить в сторону нашу учебную хрестоматию, взять в руки томик А. С. Пушкина и читать роман, удивляясь и восхищаясь его художественным совершенством.



Творческий практикум

Надеемся, что роман вас увлек. Тем более что не надо было ничего анализировать, а просто получить удовольствие от чтения, от разговора с удивительным собеседником. Мы надеемся, что вас заинтересуют высказывания о романе писателей и поэтов XIX и XX веков.

В. А. Жуковский: «Читаю «Онегина» и разговор, служащий ему предисловием: несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высотой Гения ты соединишь и высоту цели».

Е. А. Баратынский: «Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его не понимает. Ищут романтической завязки, ищут необыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед их глазами...»

В. Г. Белинский: «...стихотворный роман Пушкина положил прочное основание... новой русской литературе... «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в ней нет ни одного исторического лица... В ней Пушкин является не просто поэтом

только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!»

Н. В. Гоголь: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла...»

Ф. М. Достоевский: «В «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязаемо реальной... воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностью, какой не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй».

И. С. Тургенев: «Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни».

Н. Г. Чернышевский: «Значение Пушкина неизмерно велико... Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «приятным и полезным препровождением времени» для тесного кружка дилетантов. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкиным».

А. П. Платонов: «Истинный поэт после последней точки не падает замертво, а вновь стоит у начала своей работы. У Пушкина... перед собой бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чертою...»

А. А. Ахматова: «И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
«Онегина» воздушная громада,
Как облако стояла надо мной».

Возможно, вам тоже захочется что-то написать о романе, пополнив своим, пусть пока ученическим творчеством, огромные ряды почитателей великого русского гения и его творений. Считайте это творческим заданием, но выполните вы его после ваших ответов на вопросы: про что произведение и о ком?

Ответить же на эти вопросы вам поможет следующая статья учебника.



ОБРАЗ «ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ»

В «Евгении Онегине» нашел свое наиболее полное воплощение один из значительнейших замыслов поэта: «дать образ «героя времени», типический портрет современника — человека нового XIX столетия», как пишет один из известнейших пушкинистов Д. Д. Благой.

Обратите внимание на то, что литературовед ставит рядом два понятия: «герой» и «время».

Давайте вместе подумаем почему. Может ли писатель создать типический портрет человека вне связи с тем временем, в котором он живет? Нам кажется, что нет, не может. Можно ли изобразить время, не показывая уклада жизни, переживаний, оценок, действий людей? Пока это никому не удавалось.

Теперь следующий вопрос. А зачем вообще писатель стремится создать именно типический портрет «героя времени»? Вероятно, для того чтобы максимально глубоко показать жизнь и судьбу своей страны — ее прошлое, настоящее и будущее.

Именно эта проблема после появления «Евгения Онегина» становится важнейшей в русской литературе и во многом определяет направление ее развития.

Когда вы читали роман, вы, наверное, обратили внимание на то, с какой полнотой, глубиной и тщательно-

стью описываются реалии жизни дворянской России начала XIX века. Именно эти реалии помогают поэту создать образ «героя времени», только в их окружении Онегин становится типичным человеком девятнадцатого столетия, иначе говоря, какое время — таков и герой.

Подберите в тексте романа доказательства или опровержения этой точки зрения. А теперь сами сделайте вывод: почему роман живет и не стареет, несмотря на то что в нем показана давно прошедшая эпоха нашей истории?

— Михаил Юрьевич Лермонтов —

Герой — витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный сподвижник... самоотверженец.

В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

«Герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почестся злою иронией, потому что большая часть читателей, наверное воскликнет: «Хорош же герой!» — а чем он дурен? — смеем вас спросить...

В. Г. Белинский

Я прочел «Героя» до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойною быть в моде. Это то же преувеличение презренных характеров, которое находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер.

Николай I

Интересующая нас проблема героя и времени выносится в название произведения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Обратите особое внимание, когда буде-

те читать роман, на местоимение «нашего». И еще — на значение слова «герой», в котором оно употреблено. Ведь именно эта трактовка вызвала многочисленные нападки критиков на М. Ю. Лермонтова, после того, как в 1840 году роман, состоящий из пяти повестей, объединенных одним героем — Григорием Александровичем Печориным, вышел в свет.

Отвечая критикам, автор к следующему изданию романа специально пишет предисловие. Давайте его внимательно прочитаем.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападков, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней

обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сладостями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!

Согласитесь, довольно резкий, почти обличительный тон: «нужны горькие лекарства, едкие истины». Но самое главное: «Герой Нашего Времени (все три слова с большой буквы. — *Авт.*), милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».

Наше время фактически становится синонимом нашего поколения. А «типический портрет» поколения — главный герой.

Когда будете читать роман, подумайте: как бы, на ваш взгляд, М. Ю. Лермонтов сформулировал интересующую нас проблему: какое время — таков герой, а может быть, каков герой — таково и время?

А теперь продолжайте чтение романа. Уверены, что большинство из вас будет читать не отрываясь.



«ИСТОРИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ»

В предисловии к журналу Печорина М. Ю. Лермонтов пишет: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

А теперь давайте вспомним, чего в романе больше — описаний условий и уклада жизни или психологических размышлений героя. Конечно, второго. Более того, фактически все картины жизни, ее оценки даются от лица Печорина. А это значит, что мы воспринимаем реалии времени через призму печоринских оценок. Именно этот художественный прием и дает нам, читателям, возможность увидеть, с одной стороны, внутреннюю жизнь главного героя, а с другой — время, которое он собой олицетворяет.

Видите, как интересно получается: герой как бы создает свое время. А если это так, то «история души человеческой» становится равнозначной «истории целого народа». Это, безусловно, великое художественное открытие М. Ю. Лермонтова.



Творческий практикум

Снова обратимся к предисловию к журналу Печорина. «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? —

Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю».

Лермонтов, конечно, знает и отвечает на этот вопрос всем своим романом, в том числе и психологическим портретом Печорина, который рисует странствующий офицер. Обратите внимание на этот портрет. Он очень много объясняет в Печорине.

Современники и потомки почти полтора века анализируют роман и тоже дают свои оценки.

А. А. Григорьев: (В печоринском типе. — *Авт.*) «чуются люди иной, титанической эпохи, готовые играть жизнью при удобном и неудобном случае... Вот этими-то своими сторонами Печорин не только не был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического».

С. П. Шевырев: «Все содержание повести г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенной русской жизни; но сам Печорин, за исключением одной его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательно-му, производимому в нас ложным отражением Запада. Это призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существование».

А. И. Герцен: «Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительно скорбь и разорванность тогдашней русской жизни».

В. Г. Белинский: «Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни... в этом человеке есть сила духа и могущество воли... в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него... Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях... Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно призна-

ется в своих истинных недостатках, но еще выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения».

М. Горький: «Лермонтов был и шире, и глубже своего героя. Пушкин еще любит Онегина, Лермонтов относится к герою полуравнодушно. Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове есть черты пессимизма, но пессимизм в Лермонтове — действенное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности и отрицание ее, жажда борьбы, и тоска, и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия».

Как видите, образ главного героя, как, впрочем, и весь роман М. Ю. Лермонтова открыт для такого количества толкований, что предлагать лишь одно из них, как безусловно верное, было бы по меньшей мере самонадеянным.

Поэтому мы предлагаем вам не просто задуматься над вопросом о том, кто такой Печорин как герой своего времени, но и поразмышлять о том, что, может быть, сближает наше время и время печоринское, Печорина и героя нашего времени.

Когда будете выполнять это задание, пожалуйста, не забывайте о главном: ваши доказательства находятся в тексте художественного произведения.

Николай Васильевич Гоголь

МЕРТВЫЕ ДУШИ

«Свое главное произведение назвал он «Мертвые души» и выразил в этом названии великую тайну своего творчества», — писал в начале XX века русский писатель, философ и публицист В. В. Розанов.

Эту тайну вы будете открывать для себя, отвечая на бесконечные вопросы, которые возникают у вдумчивого читателя поэмы «Мертвые души».

Начнем с главного героя Павла Ивановича Чичикова. Автор, описывая его, использует совершенно неожидан-

ный прием: «В бричке сидел господин не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод».

А теперь попробуйте зрительно представить себе этого удивительного господина. Получилось? Тогда возникает резонный вопрос: зачем автор, создавая первое представление о главном герое, характеризует его через частицы «ни» и «не»?

Читаем следующее предложение: «Въезд его в город совершенно не произвел никакого шума и не был сопровожден ничем особенным: только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к следовавшему в нем». Хорош герой, на которого окружающие обращают внимание меньше, чем на экипаж. Но это только на первый взгляд. Скоро вы в этом убедитесь сами.

А «два русских мужика» — разве это словосочетание в контексте «Мертвых душ» не странно? Что это — стилистическая небрежность? Конечно, нет: Гоголь относится к слову благоговейно, для него писательство — служение, почти священнодействие. И вдруг — «русские» мужики? А другим — французским, немецким, английским — откуда же взяться в российской губернии?

Вопросы... Вопросы... Вопросы... Они всегда мучили читателей гоголевской поэмы. Вот, например, финал произведения.

«...Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подсакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт

побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижимы. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарыбит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик;

гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Герой рассказа Шукшина, когда слышит эти строки, то задается вопросом: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!.. Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер». Не дает покоя эта мысль шукшинскому герою, как не давала покою поэма своим многочисленным читателям.

«Мертвые души», — писал А. И. Герцен, — потрясли всю Россию... «Мертвые души» Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный».

Как это случилось, что повествование об афере Чичикова закончилось гимном Руси? Да и почему книга о современной писателю России, о «коренных свойствах» русского человека вдруг получила название «Мертвые души», а ее жанр обозначен как поэма? Мы же все помним, что поэма — это поэтическое произведение, а душа в христианском понимании бессмертна, потому не может быть мертвой.

Видите, сколько вопросов. Задумайтесь над ними, когда будете читать поэму. Но самая главная ваша задача при первом чтении «Мертвых душ» — не отказать себе в удовольствии посмеяться от всей души.



«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ», ИЛИ «СЛЕЗЫ СКВОЗЬ СМЕХ»

«Мертвые души», — заметил однажды В. Г. Белинский, — прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе причин есть та, что «Мертвые души» не

соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не «сюжет»... Сверх того, как всякое глубокое создание, «Мертвые души» не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение. «Мертвые души» требуют изучения».

Давайте приступим к толкованию текста с ответа на вопрос: чего в романе больше — авторского смеха или слез? Чтобы ответить на этот вопрос, снова обратимся к проблеме героя и времени. Скажите, можно ли утверждать, что внешность, характер, суть предприятия главного героя очень жестко связаны с конкретным отрезком исторического времени? А бытовые реалии времени, описываемого в романе, имеют принципиальное значение для понимания характера героя, создания автором его образа? На наш взгляд, на оба вопроса надо ответить отрицательно. Хотя у вас может быть и другая точка зрения. Но ее надо обосновать.

Так вот, если герой не ставится в зависимость от времени, а время, в сущности своей, становится вневременным, то мы можем сказать, что перед нами действительно эпопея русской жизни в ее глубинном внеисторическом, нравственно-духовном смысле. Ведь глубинная суть человеческих характеров, по мнению Н. В. Гоголя, не связана со временем, потому человеческие пороки появляются не из-за условий существования, не из-за богатства или бедности. Они порождаются духовно-нравственной пустотой, иначе говоря, отсутствием души у человека. А если автор считает, что эти пороки не имеют временных границ, если они присущи очень многим, то, создавая внешне смешные ситуации, иронизируя над своими героями, автор, конечно, не может сдержать слезы.

Но не все так трагично. Есть светлые стороны в жизни, есть и надежда, и вера, и любовь. И все эти чувства связаны у Н. В. Гоголя с Россией.

Тройка несется, а великий русский писатель ищет сам и помогает искать нам с вами ответ на им же поставленный вопрос: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «вперед»?»



Творческий практикум

Задания на выбор

Н. В. Гоголь как-то сказал: «В уроде вы чувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод». Как вы понимаете эти слова? В своих рассуждениях опирайтесь на текст «Мертвых душ».

Какие образы поэмы «Мертвые души» вы считаете вечными, иначе говоря, кто из героев «Мертвых душ», на ваш взгляд, мог бы стать героем нашего времени?

Задание для будущих литературоведов

Признаки каких жанров вы можете найти в «Мертвых душах»?

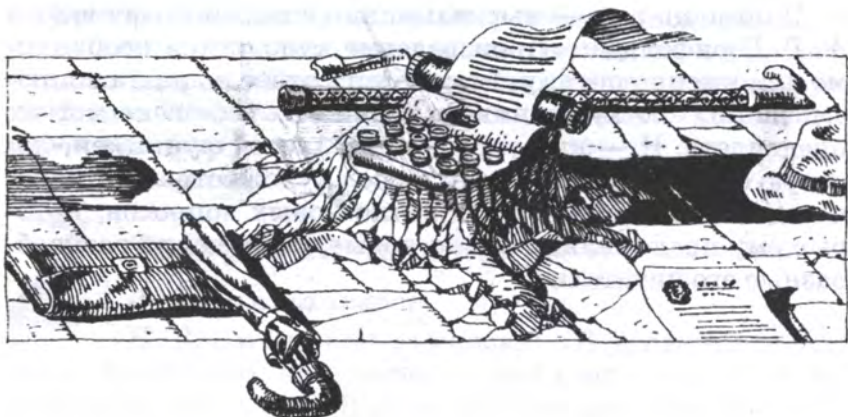
В помощь вам мнение Л. Н. Толстого: «История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров... отступления от европейской формы, но не дает даже одного примера противного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».



Читательская конференция *Художественное произведение* *и его читатели*

Когда вы будете выступать на конференции, покажите, как вы понимаете взаимоотношение трех неразрывных звеньев единой цепи: автора, образа, им созданного, и читателя, воспринимающего этот образ.

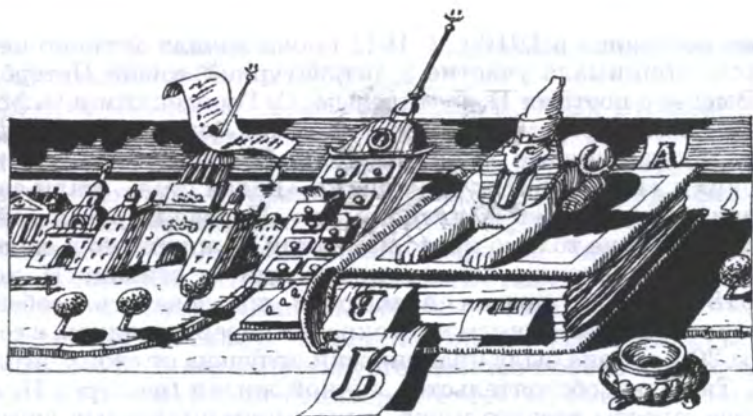
В помощь вам — высказывание известного филолога А. Г. Горнфельда: «Произведение художника необходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопросы: наши, ибо художник не ставил их себе и не мог их предвидеть. И — как орган определяется функцией, которую он выполняет, — так смысл художественного произведения зависит от трех вечно новых вопросов, которые ему предъявляют вечно новые, бесконечно разнообразные его читатели».



ЭПИЛОГ

Прошел еще один год нашего пребывания в мире литературы. Надеемся, что он был вам интересен и полезен. Мы учили вас тому, что интерпретации могут быть самыми разными. И, чтобы доказать это еще раз, прощаемся с вами стихами А. С. Пушкина из его романа «Евгений Онегин». Думаем, что вы поймете, почему выбраны именно эти строчки:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлечения, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!



КРАТКИЙ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПИСАТЕЛЕЙ¹

Астафьев Виктор Петрович (род. в 1924), русский писатель. Родился в крестьянской семье в деревне Овсянка под Красноярском и уже в раннем детстве испытал участь семей «спецпереселенцев», попав в Игарку, за Полярный круг. Один из эпизодов своей биографии этого периода Астафьев воссоздал в повести «Кража» (1966). В 1941—1944 гг. будущий писатель принимал участие в Великой Отечественной войне, некоторые события которой легли в основу последнего романа «Прокляты и убиты» (1993—1994). Самую большую популярность Астафьеву принес его роман о Сибири и ее людях — «Царь-рыба» (1976).

Ахматова Анна Андреевна (1889—1966) (настоящая фамилия Горенко), русский поэт. Родилась А. Ахматова в семье отставного инженера-механика флота. Ее детские годы прошли в Царском Селе, где в 1903 г. она познакомилась с Николаем Гумилевым (1886—1921), своим будущим мужем и известным русским поэтом. Хотя стихи она начала писать рано, чуть ли не в одиннадцать лет, ее настоящий поэтический

¹ При составлении словаря использованы издания: *Литературный энциклопедический словарь*. — М., 1987; *Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь*. — Т. 1—4. — М., 1989 — 1999; *Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь*. — В 2 ч. — М., 2003; *Словарь школьника: Литература*. — М., 1999.

дебют состоялся в 1910 г. С 1911 г. она начала активно печататься, принимала участие в литературной жизни Петербурга. Вместе с поэтами Н. Гумилевым, С. Городецким и О. Мандельштамом, поэтом и переводчиком М. Лозинским стояла у истоков знаменитого «Цеха поэтов». Ее первые поэтические сборники «Вечер», «Четки», позже «Белая стая» стали своеобразными «книгами женской души». Первая мировая война и революция не только круто изменили ее жизнь, но и способствовали появлению новых интонаций в стихах. И хотя в 1918—1923 гг. поэзия Ахматовой пользовалась особенно большим успехом, книги многократно переиздавались, с середины 20-х гг. она была практически отлучена от своих читателей. Тяжелые обстоятельства личной жизни (расстрел Н. Гумилева, аресты второго мужа, сына, многочисленных друзей, война, которую Ахматова провела в эвакуации в Ташкенте, партийное постановление 1946 г., бытовая неустроенность и тяжелые болезни), конечно, влияли на творчество Ахматовой, но никогда не прерывали его. Начиная с середины 30-х гг. ее творчество развивалось наиболее интенсивно. Тогда же она, по своему собственному выражению, начала вести «бедуинский образ жизни», подолгу живя то в Ленинграде, то в Москве. Не имея возможности публиковать свои поэтические произведения, Ахматова делала переводы, а ее статьи о Пушкине снискали ей славу очень интересного исследователя. Пик ее популярности приходится на начало 60-х гг.: тогда ей была присуждена в Италии международная литературная премия, вручена мантия почетного доктора Оксфордского университета. Однако не это обессмертило имя поэта. Многочисленные стихотворения, «Поэма без героя», «Реквием» (не опубликованные в России при ее жизни) ставят ее имя в ряд великих поэтов XX в.

Бах Ричард (род. в 1936), американский писатель, потомок Иоганна Себастьяна Баха. В чем-то его биография напоминает биографию А. де Сент-Экзюпери. Ричард Бах — профессиональный пилот, он знает и умеет все, что касается вождения самолета: может выполнить фигуры высшего пилотажа и любой трюк на самолете для кино (так, кстати говоря, и было, когда по его книге «Ничего, кроме случая» снимался фильм). Пилот тактического истребителя военно-воздушных сил армии США, автор технических книг по авиации и летный инструктор. Однако с детства он мечтал писать, его школьный учитель литературы всегда уверял своего ученика, что так оно и будет, и это предсказание сбылось. В настоящее время Бах — один из самых известных и издаваемых писателей не только в США, но и в мире. Особой популярностью пользуется его повесть «Чайка по имени Джонатан Ливинг-

стон» (1970), созданная им всего через несколько лет после писательского дебюта в 1963 г.

Белов Василий Иванович (род. в 1932), русский писатель. Родился и вырос на Вологодчине, в 1964 г. окончил Литературный институт. Белов ввел в литературу нового героя — человека от земли, настоящего крестьянина. Его первая повесть «Привычное дело» (1966) и сборник «Плотничьи рассказы» (1968) сразу нашли широкий читательский отклик. Событием литературной жизни стал его большой роман о коллективизации «Кануны» (1972—1987).

Блок Александр Александрович (1880—1921), русский поэт. Родился в Петербурге, детство провел в семье деда, ректора Петербургского университета А. Н. Бекетова. Как поэт он сформировался под влиянием традиций русской классической литературы, свято почитавшихся в семье Бекетовых. Его интерес к творчеству философа-мистика Вл. Соловьева, с которым он был знаком лично, определил направленность первого цикла «Стихов о Прекрасной Даме», хотя в основе большинства стихотворений лежит подлинное чувство к невесте, позже — жене поэта Любови Дмитриевне Менделеевой. Выход первого сборника в свет ввел поэта в круг символистов, а его вторая книга «Нечаянная Радость» (1907) сделала имя популярным в читательских кругах. Творческая жизнь поэта была очень интенсивной: к началу Первой мировой войны он — автор нескольких стихотворных циклов (позже объединенных самим поэтом в три тома лирических произведений), пьес и статей о литературе. Особое место в творчестве занимают стихотворения о России и поэма «Возмездие» (1910—1921), на страницах которой воплощены размышления Блока над проблемой единения интеллигенции и народа. Готовность поэта к «неслыханным переменам, невиданным мятежам» определили позицию Блока в событиях Октября, которые нашли свое воплощение в поэме «Двенадцать» (1918). Последние годы отмечены изнурительной «непоэтической» работой в многочисленных культурных учреждениях и тяжелой болезнью, но не она убила поэта, «его убило отсутствие воздуха», с ним умирала его культура, культура «серебряного века».

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940), русский писатель. Родился в Киеве, в семье профессора духовной академии. После окончания медицинского факультета был призван в армию, затем служил земским врачом в с. Никольское на Смоленщине. Впечатления этих лет нашли отражение в «Записках юного врача» (1925—1926). 1918—1919 гг. провел в Киеве вместе с семьей, черты которой легко угадываются в героях его романа «Белая гвардия» (1925—1927). Как врач был мобилизован в армию Деникина, вместе с ней отсту-

пал из России, но вынужденное бегство было прервано тифом. В 1923 г. оказался в Москве, в 1924 г. начал печататься. Большинство своих произведений опубликованными так и не увидел: после многочисленных критических откликов было прервано печатание «Белой гвардии», пьесы снимались с репертуара, ни одна новая вещь не доходила до читателя. Исключение составила только пьеса «Дни Турбиных» (1926), сценический вариант романа «Белая гвардия», которая в течение многих лет не сходила с афиш МХАТа. Очень сложные отношения с властью сделали невозможными ни публикацию сатирической повести «Собачье сердце» (1925), ни романа «Мастер и Маргарита» (1929—1940).

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), русский писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Родился на Орловщине, принадлежал к старинному дворянскому роду. Дебютировал в 1887 г. как поэт, но одновременно стал публиковать рассказы, очерки, критические статьи. В 1903 г. Академия наук присудила Бунину Пушкинскую премию за поэму «Листопад» (1901) и перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло (1896). Первостепенное место в литературной жизни России Бунин занял в 1910-е гг., когда вышли в свет повести «Деревня» (1910), «Суходол» (1911), рассказы «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Легкое дыхание» (1916), «Сны Чанга» (1916). Октябрьскую революцию встретил откровенно враждебно: название его дневника «Окаянные дни» о событиях этого времени говорит само за себя. В 1920 г. Бунин эмигрировал и вскоре обосновался во Франции, где продолжал не менее интенсивно работать. К самым значительным произведениям этого периода можно отнести во многом автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1927—1933), за который и была присуждена Нобелевская премия, и цикл новелл о любви «Темные аллеи» (1943). Его философский трактат «Освобождение Толстого» (1917) и книга о Чехове, работа над которой была прервана смертью, открывают перед нами еще одну грань таланта писателя, поэта, оригинального мыслителя. К сожалению, путь произведений Бунина к читателю был сложным: в Советском Союзе они начали публиковаться только после смерти их автора, а в полном, неискаженном, виде доходят до читателя только сейчас.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель. Родился на Украине, его детство прошло в с. Васильевка на Полтавщине. После окончания Нежинской гимназии Гоголь приезжает в Петербург, где дебютирует как поэт. Однако его поэма «Ганц Кюхельгартен» (1829), опубликованная под псевдонимом В. Алов, вызвала неблагоприятную критику, и Гоголь, скупив в магазинах нераспроданные

экземпляры, сжег ее. Подлинную славу молодому автору принесли «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Тогда же во многом стала определяться и судьба их автора: перепробовав многочисленные занятия, среди которых и государственная служба, и преподавание, Гоголь наконец находит дело жизни — писательство. Однако, как оказалось позже, его следующие сборники «Миргород» (1835) и цикл «петербургских повестей», драматические произведения, первое место среди которых, безусловно, надо отдать «Ревизору» (1836), становятся лишь подступами к великой теме — теме России, которая воплощена на страницах поэмы «Мертвые души», работа над которой шла с 1836 г. до последних дней жизни. «Мертвые души» создаются в Италии, где начиная с 1836 г. писатель живет практически постоянно. Именно там в 40-х гг. параллельно с работой над вторым томом Гоголь начинает создавать «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), книгу, которой суждено было сыграть печальную роль в судьбе писателя. Создавая ее, писатель берет на себя роль духовного пастыря, в слове которого, по его мнению, особо нуждается Россия. Однако достаточно резкая критика, с которой была встречена книга на родине, ее непонимание многими духовно близкими людьми, а также, как казалось Гоголю, неудачный второй том «Мертвых душ», беспредельная, если не сказать беспощадная, требовательность к себе привели к тяжелой болезни, сожжению второй части поэмы и преждевременной смерти, обстоятельства которой до сих пор овеяны тайной.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881), русский писатель. Родился в семье врача, его детство прошло в Москве, на Божедомке, во дворе больницы для бедных. В 1838 г. будущий писатель со своим старшим братом Михаилом по настоянию отца поступают в Главное инженерное училище в Петербурге. Там же, в столице, начинается его писательская карьера: в 1846 г. выходит из печати первое произведение — «Бедные люди». Однако блистательно начатая карьера была прервана поистине трагическим событием: привлеченный по делу петрашевцев, Достоевский был приговорен к смертной казни — этот эпизод своей жизни он описал в романе «Идиот» (1868), которая в самый последний момент была заменена четырехлетней каторгой. Четыре года, проведенные на каторжных работах в омском остроге, легли в основу «Записок из Мертвого дома» (1860—1862), там же на каторге был задуман роман «Преступление и наказание». Только в 1859 г., после нескольких лет принудительного заточения, писатель возвращается в Петербург. С этой поры начинается последний период его деятельности, отмеченный небывалой творческой активностью. Он много пишет, издает вместе с

братом журналы «Время» и «Эпоха». В 1866 г. начинает печататься в журнале роман «Преступление и наказание», который открывает «романное пятикнижие», в состав которого позже войдут «Идиот», «Бесы» (1871—1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879—1880). В феврале 1867 г. в жизни писателя происходит счастливое событие: он обвенчался с Анной Григорьевной Сниткиной, «стенографкой», благодаря помощи которой ему удалось вовремя закончить «Игрока» (1866) и избежать кабального договора с издателем, мечтавшим лишить Достоевского авторских прав на его же собственные произведения почти на два десятка лет. В середине 70-х гг. начинает выходить «Дневник писателя» (1876—1877), блестящее публицистическое исследование современной жизни. К выступлениям в «Дневнике» примыкает речь Достоевского о Пушкине, произнесенная им на торжествах по случаю открытия в Москве памятника поэту в июне 1880 г. Через полгода после этого знаменательного события Достоевский умер, так что пушкинскую речь можно считать своеобразным итогом его творчества.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925), русский поэт. Родился в с. Константиново на Рязанщине, в крестьянской семье. В 1912 г. приезжает в Москву. С первых же стихов — первое стихотворение «Береза» было опубликовано в 1914 г. — в его поэзию входит тема родины. В марте 1915 г. Есенин приезжает в Петроград, знакомится с Блоком, который высоко оценил «свежие, чистые, голосистые» стихи молодого поэта и дал ему рекомендательные письма. Революцию 1917 г. поэт принял, но «по-своему, с крестьянским уклоном», его послеоктябрьские стихотворения очень точно выразили мироощущения человека этой непростой эпохи. После революции Есенин сблизился с поэтами-имажинистами, а прозаическая работа поэта «Ключи Марии» (1920) стала их своеобразным манифестом. Скандальную славу Есенину принес поздний цикл стихов «Москва кабацкая» (1924). Подлинная трагедия большого поэта, «не вписавшегося» в эпоху, нашла свое отражение в поэме «Черный человек» (1925). Жизнь Есенина трагически оборвалась: утром 28 декабря 1925 г. он был найден мертвым в своем номере в гостинице «Англетер».

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), русский писатель. Рано лишившийся матери, будущий поэт остался на попечении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, которая дала внуку блестящее домашнее воспитание. Писать начал рано, его первые произведения датируются 1828 г. В том же году Лермонтов поступил в Благородный пансион при Московском университете, студентом которого стал в 1830 г. Однако дела в университете шли далеко не гладко: юному студенту

припомнили участие в «маловской истории», когда студенты устроили обструкцию профессору М. Я. Малову. Эти обстоятельства вынудили Лермонтова подать прошение о переводе в Петербургский университет. Однако в 1832 г. Лермонтов под влиянием своего друга С. А. Раевского поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую заканчивает в 1834 г. Все это время поэт интенсивно работает. Его произведения постоянно публикуются, а сам Лермонтов мечтает о постановке только что законченной драмы «Маскарад» (1836). Начало 1837 г. принесло трагическую весть: смертельно ранен на дуэли Пушкин. На кончину своего кумира Лермонтов откликнулся стихотворением «Смерть Поэта». Это стихотворение положило начало «следствию о не позволенных стихах», результатом которого был перевод Лермонтова в другой полк и отъезд на Кавказ, к месту службы. Ссылка, к счастью, была недолгой, и поэт вскоре вернулся в Петербург, где его имя и его стихи были у всех на устах. Однако вскоре за дуэль Лермонтов вновь был выслан на Кавказ, где принял участие в боевых действиях на р. Валерик, проявив «отменное мужество и хладнокровие», «с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». За отличную службу поэт получает отпуск и возвращается в Петербург. К этому времени выходит из печати «Герой нашего времени» (1841). По окончании отпуска поэт едет на лечение в Пятигорск, где на вечере у одного из знакомых у него происходит ссора с И. С. Мартыновым, которая закончилась дуэлью. Дуэль состоялась вечером 16 июля у подножия г. Машиш, Лермонтов от выстрела отказался, а Мартынов выстрелил. Жизнь Лермонтова, короткая и до последней минуты трагическая, прервалась. По иронии судьбы поэт по дороге к месту дуэли рассказывал о своих планах: у него созрели замыслы двух романов, он мечтал выйти в отставку и посвятить себя исключительно творчеству.

Мандельштам Осип Эмилевич (1891—1938), русский поэт. Детство провел в Петербурге, окончил Тенишевское училище, затем учился в Сорбонне, Гейдельбергском и Петербургском университетах. В молодости очень увлекался революционными идеями, даже пытался вступить в боевую эсеровскую организацию, но не был принят. Еще в гимназии проявился интерес Мандельштама к современной поэзии, а знакомство с Гумилевым и Ахматовой окончательно определило его дальнейшую судьбу. Вместе с ними он стоит у истоков акмеизма, активно участвует в создании «Цеха поэтов». Первый сборник его стихотворений «Камень» выходит в свет в 1913 г. Стихи времени войны и революции составили книгу стихов «Tristia» (1922). Первые годы революции Мандель-

штам много странствует, а по возвращении обосновывается в Москве. В 20-е гг. поэт обращается к прозаическим жанрам, работает в качестве переводчика и продолжает писать стихи. Его последний поэтический сборник вышел в свет в 1928 г., однако число новых стихотворений в нем чрезвычайно незначительно. В мае 1934 г. за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», направленное лично против Сталина, был арестован и сослан, сначала в Чердынь, а потом в Воронеж, где и создал последний в своей жизни стихотворный цикл «Воронежские тетради», опубликованный в 1966 г. После возвращения из ссылки и мучительных бесприютных месяцев бездомья, безденежья и безысходности в мае 1938 г. был вторично арестован, осужден на каторжные работы. Погиб зимой этого же года в одной из пересылок ГУЛАГа (точная дата смерти и могила неизвестны).

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), русский поэт. «Я — поэт, этим и интересен» — так Маяковский определил главное дело своей жизни. Родился он в Грузии в с. Багдади в семье лесничего. В 1906 г. после внезапной и нелепой смерти отца семья переехала в Москву. Оказавшись в самом центре недавних революционных событий, Маяковский сразу определяет область своих дальнейших интересов — живопись и партийная работа. Последняя закончилась после «одинадцати бутырских месяцев», именно там, в Бутырской тюрьме, определилось главное: «Хочу делать социалистическое искусство». В 1910 г. во ВХУТЕМАСе, где поэт продолжил учебу, произошло его знакомство и сближение с Давидом Бурлюком. Вместе они выбирают футуризм как творчество будущего во всех сферах бытия, начинаются их поездки по России. Выступления футуристов всегда сопровождала атмосфера эпатажа и скандала, но они же открыли талантливейшего поэта Владимира Маяковского. Его ранние стихотворения, поэма «Облако в штанах» (1915) сделали его значительной фигурой в литературе «серебряного века». Октябрьскую революцию молодой поэт принял восторженно. И «наступив на горло собственной песне», служил ей честно и преданно: работал в «Окнах сатиры» РОСТА, много писал на потребу дня, был настоящим «полпредом стиха» и родной страны в многочисленных поездках за рубежом. Прославился и как сатирик: создал пьесы «Баня» (1930) и «Клоп» (1929), блистательно поставленные Мейерхольдом. Но, наверное, не все было так просто и беспечально: 14 апреля Маяковский покончил счеты с жизнью. А после этого умер еще раз, превращенный в «лучшего поэта советской эпохи», замусеенный, выхолощенный и растащенный на плакатные цитаты.

Мольер (псевдоним, настоящее имя Жан Батист Поклен) (1622—1673), великий французский драматург. Родился в буржуазной семье и должен был унаследовать профессию своего отца, придворного обойщика, или стать юристом, но решил выбрать ремесло актера. Успех пришел к Мольеру, когда в 1658 г. его труппа показала Людовику XIV комедию «Влюбленный доктор». Вообще в творчестве Мольера начал складываться новый жанр — «высокая комедия», которая, по словам А. С. Пушкина, «близко подходит к трагедии». Такова, например «Школа жен» (1662). Но славу и поистине будущий мировой успех принесли Мольеру комедии 1664—1670 гг.: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Когда Мольер стал знаменитым французским драматургом, Французская академия предложила ему стать академиком, но при условии, что он порвет с театральной деятельностью. Мольер отказался: он умер в своем театре сразу после представления его последней комедии «Мнимый больной», где он исполнял главную роль. И только после длительных хлопот его вдовы и личного указания короля его удалось похоронить по христианскому обряду, против чего возражала церковь.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78), русский поэт. Детские годы поэта прошли на Волге, его отец Алексей Сергеевич был человеком крутого нрава, и от него в доме страдали все: и крестьяне, и слуги, и домочадцы. Именно из дома отца вынес будущий поэт исключительную чуткость к чужому страданию. В 1838 г. шестнадцатилетним, с заветной тетрадкой стихов собственного сочинения, Некрасов отправился в Петербург, где, вопреки воле отца, решил поступать в университет. Разрыв с семьей оказался неминуем. Однако первый поэтический сборник «Мечты и звуки» не принес желанной славы, и потекли суровые будни литературной поденщины. Поворотным в судьбе Некрасова стал 1843 г., когда произошла его встреча с В. Г. Белинским, критиком, кумиром демократически настроенной молодежи. Несколько лет спустя, в 1847 г., Некрасов стал во главе журнала «Современник», едва ли ни лучшего журнала 50—60-х гг. прошлого столетия. Постепенно приходит и слава: стихи Некрасова становятся не просто популярными, а самыми любимыми в среде разночинной интеллигенции. Особенно счастливую судьбу имел сборник 1856 г., открывающийся программным стихотворением «Поэт и гражданин» (1856). А некрасовская «Тройка» (1846) становится народной песней. Центральная тема Некрасова — тема народа — нашла свое воплощение в поэмах «Коробейники» (1861) и «Мороз, Красный нос» (1863—1864).

Смерть прервала работу над эпопеей народной жизни, поэмой «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877).

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Родился в семье известного художника Л. О. Пастернака, его детство прошло в атмосфере искусства, самые отчетливые воспоминания — Л. Н. Толстой, с которым был знаком отец, стихи Р. М. Рильке, музыка А. Н. Скрябина. К стихам пришел через занятия музыкой и философией. Первый сборник «Близнец в тучах» был издан в 1914 г. Кумир поэтической юности — Маяковский. В историческом для России 1917 г. выйдет второй сборник «Поверх барьеров», тогда же начнет создаваться и формироваться третий сборник стихов — «Сестра моя — жизнь» (1922), название которого говорит само за себя и очень точно определяет поэтическое кредо Пастернака. После выхода этого сборника в свет Пастернак становится одним из самых популярных поэтов, много пишет, публикуется. Но постепенно сотрудничество с властью вылилось в противостояние ей и закончилось созданием романа «Доктор Живаго» (1957). Публикация романа за рубежом и Нобелевская премия, присужденная в 1958 г. за роман, сопровождались скандалом и откровенной травлей поэта, которая закончилась исключением из Союза писателей. В последние годы жизни раскрылись новые грани таланта Пастернака: его переводы Шекспира общепризнаны. В 1987 г. постановление об исключении было отменено, а в 1988 г. роман вышел в свет.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), великий русский поэт. «Наше все» — так сказал о нем Ап. Григорьев. Родился в Москве, его мать — урожденная Ганнибал — двоюродная внучка «арапа Петра Великого». В 1811 г. он поступает в Царскосельский лицей, который на всю жизнь станет его настоящим Домом. Именно в Лицее он определил свой выбор: «Мой жребий пал — я лиру избираю». В Лицее на переводном экзамене в присутствии Г. Р. Державина было прочитано «Воспоминание в Царском Селе», позже напечатанное в одном из журналов впервые за полной подписью автора. В 1817 г. Пушкин был выпущен из Лицея в чине коллежского секретаря и направлен на службу в Коллегию иностранных дел. С 1818 г. можно говорить о творческом пути поэта, в котором традиционно выделяют несколько периодов. Петербургский (1818—1820), который едва не закончился высылкой поэта в Сибирь за то, что «наводнил Россию возмутительными» вольнолюбивыми стихами. Однако усилиями друзей ссылка была заменена переводом по службе, а фактически тоже ссылкой, сначала на юг России в Одессу и Кишинев, а в 1824 г. в родовое имение Михайловское. Поэтому второй пери-

од творчества датируется годами пребывания в ссылках (1821—1826), он ознаменован расцветом романтизма в творчестве («южные поэмы»), а также выработкой новых, реалистических принципов изображения действительности («Борис Годунов» (1824—1825), стихотворения периода северной ссылки). По царскому повелению ссылка была прервана, и опальный поэт «возвращен» в столицу. В Москве и Петербурге он проводит следующие четыре года жизни. Центральным событием этого периода (1827—1830) стала Болдинская осень (1830). Поехав перед свадьбой приводить в порядок свои денежные дела, Пушкин из-за холерного карантина вынужден был находиться в Болдине, небольшом имении, доставшемся ему по наследству. Именно там закончен «Евгений Онегин», начатый еще в Кишиневе, написаны «маленькие трагедии», «Повести Белкина», более тридцати стихотворений. Зимой 1831 г. поэт женился на Наталье Николаевне Гончаровой и вскоре с молодой женой переехал в Петербург. Последний петербургский период (1831—1837) ознаменовался интенсивной работой: написаны «Дубровский» и «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и «Медный всадник», десятки стихотворений. Пожалуй, это самый сложный период в жизни поэта, сложный своими отношениями с читателями и властью, отношениями в семье, грязными сплетнями и клеветой, которые буквально отравили последние дни его жизни. Незадолго до смерти Пушкин решает издавать журнал для семейного чтения, так появляется «Современник», которому уготована была долгая жизнь в литературе. 27 января (по старому стилю) состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, полученное ранение оказалось смертельным, 29 января поэта не стало. Похоронен Пушкин в Святогорском монастыре, рядом с родителями.

Распутин Валентин Григорьевич (род. в 1937), русский писатель. Для его творчества характерен драматизм и острота постановки этических проблем, поиски нравственной опоры в мире народной крестьянской нравственности. Его повести и рассказы о современной жизни: «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матерой» (1976), «Век живи — век люби» (1982), «Пожар» (1985) и др. явились продолжением лучших традиций русской литературы XIX в. Книги выдающегося современного русского писателя В. Г. Распутина по праву вошли в золотой фонд современной русской литературы.

Сервантес Сааведра Мигель (1547—1616), великий испанский писатель. Сын лекаря из обедневшего дворянского рода, его детство прошло в жестокой нужде и постоянных странствиях в поисках средств к существованию. Он вел бродяжническую жизнь: учился в иезуитской школе в Мадриде,

был ключником у папского посла в Риме, затем служил в испанской армии. Многократные тюремные заключения, ранение в морской битве в 1570 г., в результате которого он лишился руки, пятилетний плен у пиратов в Алжире, где он был продан в рабство, — лишь эпизоды его трудной и драматичной судьбы, к ударам которой он относился с мудрым спокойствием. За свое первое произведение — пасторальный роман «Галатея» (1585) — Сервантес взялся, чтобы хоть как-то вырваться из нужды. Задуманное не удалось, и государственная служба по сбору налогов в провинции, на которую он вынужден был поступить, принесла ему еще больше неприятностей и закончилась заключением за решетку. В тюрьме он и создал первую часть «Дон Кихота» (1605, вторая часть — 1615), книги, с которой, по словам Белинского, «началась новая эра искусства». Свой роман автор предназначал детям и мудрецам. Таким он и остался в чтении поколений последующих веков.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), русский писатель. Детские годы писателя прошли в родовом имении матери Спасское-Лутовиново, потом семья переехала в Москву. Впечатления детства позже отразились в его повести «Первая любовь» (1860). Однако путь в литературу был достаточно сложным: в Германии Тургенев изучал философию и всерьез задумывался о научной карьере. 1843 г. стал определяющим в жизни писателя: вышло из печати его первое произведение поэма «Параша» и состоялась встреча с В. Г. Белинским, «вождем и учителем». Однако настоящая известность пришла к Тургеневу в 1847 г., когда в журнале «Современник», у истоков которого он стоял, был опубликован рассказ «Хорь и Калиныч», первый из будущего сборника «Записки охотника». Современники называли писателя «барометром эпохи»: его романы «Рудин» (1856), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Новь» (1877) затрагивали актуальнейшие вопросы российской жизни и вызывали бурную полемику. Да и саму жизнь Тургенева тоже вряд ли можно назвать спокойной: ему пришлось пережить арест и ссылку, разрыв с журналом «Современник», обвинение в плагиате и третейский суд, оправдавший его, сложные перипетии личной жизни. На склоне лет, находясь вдалеке от России, Тургенев создает цикл «Стихотворений в прозе» (1877—1882), который вобрал в себя основные темы и мотивы творчества и одновременно явился своеобразным прощанием с жизнью, с родиной, с искусством. Завершает цикл «Русский язык», лирический гимн языку, народу, Родине.

Уайльд Оскар (1854—1900) (подлинное имя Оскар Фингал О'Флаерти Уиллс), английский писатель. Родился в Дублине, в ирландской семье. Отец его был врачом, мать —

писательницей. Литературный дебют Уайльда состоялся в 1887 г., когда вышли из печати его юмористические рассказы, в числе которых «Кентервильское привидение». В 1888 г. был опубликован сборник сказок. Наиболее яркими из них оказались «Звездный мальчик», «Преданный друг» и «Счастливый принц». Однако центральным произведением Уайльда стал роман «Портрет Дориана Грея» (1890), который принес писателю скандальную известность. А потом были пьесы, «легкомысленные комедии для серьезных людей», лучшей из которых по праву считается «Как важно быть серьезным» (1895). В конце своей жизни Уайльд сказал: «Писать о жизни нельзя — ею можно только жить. И я жил». И дурачил, и злил обывателей. И они не отличили сути от маски в его жизни. Был процесс, суд, скандал, тюрьма, опыт которой воплотился в «Балладе Редингской тюрьмы» (1898) и «Тюремную исповедь», увидевшую свет уже после смерти автора.

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), русский поэт. Родилась в Москве, ее отец Иван Владимирович Цветаев — основатель Музея изящных искусств. Годы детства Цветаевой прошли в Москве, Тарусе, а также в Лозанне и Фэйбурге, куда привела ее болезнь матери. В октябре 1910 г. Цветаева, еще ученица гимназии, опубликовала свой первый стихотворный сборник «Вечерний альбом». Новое имя заметил поэт М. Волошин, их скорое знакомство во многом определило дальнейшую судьбу молодой Цветаевой: в его доме в Коктебеле она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном, Волошин же ввел ее в круг близких ему людей искусства. Сборник 1921 г. «Версты» стал этапным в творчестве Цветаевой, так как в нем достаточно четко обозначились исконно цветаевские темы: Россия, поэзия, любовь. Ни Февральскую, ни Октябрьскую революции Цветаева близко не восприняла, сознательное отдаление себя от политики обернулось непониманием происходящего, однако истинный голос поэта начинает звучать именно в это время. С увлечением пробует себя Цветаева в драматургии: шесть пьес написано ею для театра-студии МХАТ, в том числе «Конец Казановы». В мае 1922 г. с дочерью Ариадной уезжает за границу, в Прагу, где в это время находится ее муж, попавший туда после разгрома белого движения. В 1925 г. после рождения сына Георгия семья перебирается в Париж. Этот период, до возвращения в 1939 г. в Советский Союз, — самый плодотворный в творческой биографии поэта. Несмотря на очень сложное положение в литературной среде («вне группировок»), Цветаева — самый печатаемый поэт русской эмиграции. В это же время она пробует свои силы в прозе: пишет небольшие рассказы-эссе, воспоминания, литературно-критические статьи,

среди которых особое место занимает «Мой Пушкин» (1937). В 1939 г. вслед за дочерью и мужем возвращается на Родину. К сожалению, именно здесь ей суждено пережить самые тяжелые дни: арест мужа и дочери, отлученность от читателей, невозможность работать так, как привыкла. Разразившаяся война только усугубила трагедию поэта, судьба забросила ее в Елабугу, где 31 августа 1941 г. она покончила с собой.

Чехов Антон Павлович (1860—1904), русский писатель. Родился в Таганроге, был третьим ребенком в большой купеческой семье. В 1876 г. его отец разорился, и семья вынуждена была перебраться в Москву. В 1879 г. Чехов, окончив таганрогскую гимназию, приехал в Москву к родителям и поступил на медицинский факультет университета. Практически сразу же начинается сотрудничество писателя с многочисленными юмористическими журналами. Его литературным дебютом стал рассказ «Письмо к ученому соседу» (1880). Ранние юмористические произведения составили первый сборник писателя «Пестрые рассказы» (1886). Полученное в тот же год письмо старейшего русского писателя Д. В. Григоровича заставило несколько по-иному взглянуть на собственное творчество. Переломным моментом жизненной и творческой биографии стала поездка в 1890 г. на о. Сахалин. Результатом поездки стала книга очерков «Остров Сахалин» (1895). Вернувшись в Москву, Чехов много работает: «Студент» (1894), «Человек в футляре» (1898), «Дом с мезонином» (1896), «Дама с собачкой» (1899) — рассказы, которые принесли писателю широкую известность и сделали кумиром русской интеллигенции. Тогда же писатель начал активно писать для театра. Премьера «Чайки» (1896) завершилась грандиозным провалом, однако уже на следующий год была с блеском поставлена в только что открывшемся Московском Художественном театре. С этого времени МХТ становится «театром Чехова», а чайка — его эмблемой. Все последующие чеховские пьесы: «Дядя Ваня» (1897), «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1904) — прежде всего ставятся в этом театре или прямо пишутся с расчетом на его актеров. Умер Чехов в 1904 г. в Банденвейлере.

Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург, поэт. Документально подтвержденных свидетельств о жизни Шекспира сохранилось чрезвычайно мало, скудость достоверных фактов породила множество биографических легенд и даже поставила под сомнение факт существования самого писателя. Доподлинно известно то, что Шекспир был связан с лондонским театром «Глобус», на подмостках которого с огромным успехом шли его трагедии, комедии, исторические хроники. В целом же в его творчестве традиционно выделяют

ся несколько периодов: первый — 90-е гг. XVI в., в это время написаны почти все хроники и большая часть комедий, среди которых и знаменитые «Двенадцатая ночь» и «Много шума из ничего»; второй — 1600—1608 — «период великих трагедий», когда были написаны «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», первая из них создается параллельно с сонетами; третий — 1608—1613, в эти годы в творчестве драматурга начинает складываться смешанный жанр трагикомедии. Последние годы — самый «таинственный» период жизни Шекспира: связи с театром, собственно — которого и являлись пьесы, прервались, драматург возвратился на родину, в свой родной город Стрэтфорд, и единственное, что вышло из-под пера Шекспира в эти три года, — заветание, в котором виден рачительный горожанин, но не великий писатель. Этот факт и молва о том, что Шекспир не придумывал сюжеты, а заимствовал их, породили так называемый «шекспировский вопрос», вопрос об авторстве пьес.

Шолохов Михаил Александрович (1905—1984), русский писатель, лауреат Нобелевской премии, которую он получил в 1965 г. за роман-эпопею «Тихий Дон». Выходец из семьи казаков. В литературу Шолохов пришел в 1926 г., когда были опубликованы его «Донские рассказы». Годом раньше датируется начало работы над романом «Тихий Дон», который был закончен в 1940 г. Чего только не происходило в жизни Шолохова в эти годы: и выход в 1932 г. первой книги «Поднятой целины», прославляющей коллективизацию, и страшный 1938 г., когда писатель чудом избежал ареста. Да и вообще много чего намешано в жизни и творческой биографии писателя: активная творческая жизнь до войны, Нобелевская премия и обвинение в плагиате, которое на какое-то время поставили под сомнение авторство «Тихого Дона», пронзительный рассказ «Судьба человека» (1956—1957), достаточно одиозные выступления по вопросам развития советской литературы и многолетнее молчание, по существу, с середины 50-х гг. Безусловно, время вносит и еще внесет поправки в его образ художника и человека, но уже сейчас очевидно: имя Шолохова в числе первых в литературе XX в.



Содержание

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

И. С. Тургенев. Ася	4
Семинар. Спор критиков	53
Творческий практикум	54
Советы библиотеки	55
Н. А. Некрасов. Тройка. «Внимая ужасам войны...» О двух великих грешниках. Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Тишина. Отрывок	56
Творческий практикум	66
Советы библиотеки	69
Ф. М. Достоевский. Белые ночи	69
Творческий практикум	125
Библиотечный урок. Европейская литература XIX века	126
О. Уайльд. Кентервильское привидение. Перевод Ю. Кагарлицкого	128
Творческий практикум	160
А. П. Чехов. Студент	160
Творческий практикум	165
Советы библиотеки	165

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Традиции духовной литературы	168
Н. В. Гоголь. Размышления о Божественной Литургии. Вступление	168
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово на Светлой пасхальной седмице	169
Иеромонах Роман. Пресвятая Богородице	173

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Эпоха войн и революций	176
Литературная революция	177

А. А. Блок. Гамаюн, птица вещая. «Поэт в изгнании и в сомнении...»	178
С. А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная...», «Неуютная жидкая лунность...»	179
В. В. Маяковский. А вы могли бы? Послушайте!	181
<i>Поэтический семинар</i>	183
И. А. Бунин. Темные аллеи	185
<i>Творческий практикум</i>	190
<i>Библиотечный урок. «Всякая любовь — великое счастье...»</i>	192
Существует ли женская поэзия?	192
А. А. Ахматова. Смятение	193
М. И. Цветаева. Ошибка	194
<i>Творческий практикум</i>	196
<i>Советы библиотеки</i>	196
М. А. Булгаков. Собачье сердце	197
«Новый мир» и «новые люди»	205
<i>Творческий практикум</i>	208
<i>Советы библиотеки</i>	210
«Непонятная» поэзия.	211
Б. Л. Пастернак. Зимняя ночь	212
О. Э. Мандельштам. Век.	213
М. А. Шолохов. Судьба человека	215
<i>Творческий практикум</i>	249
<i>Советы библиотеки</i>	249
<i>Библиотечный урок. Современная русская проза</i>	250
Р. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. <i>Перевод</i>	
Ю. Родман	251
<i>Творческий практикум</i>	280
<i>Советы библиотеки</i>	280

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Что такое время?	282
А. С. Пушкин. Евгений Онегин	286
<i>Творческий практикум</i>	287
Образ «героя времени»	289
М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени	291
«История души человеческой»	293
<i>Творческий практикум</i>	293
Н. В. Гоголь. Мертвые души	295
«Смех сквозь слезы», или «Слезы сквозь смех»	298
<i>Творческий практикум</i>	300
<i>Читательская конференция. Художественное произведение и его читатели</i>	300
Эпилог	302
Краткий библиографический словарь писателей	303

Учебное издание

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

9 класс

В двух частях

Часть 2

Авторы-составители:

Кутузов Александр Геннадиевич

Киселев Александр Константинович

Романичева Елена Станиславовна

Леденева Виктория Владимировна

Зав. редакцией *Е. В. Ермакова*

Ответственный редактор *Г. Г. Полубинская*

Редактор *Н. В. Сечина*

Оформление *Т. Е. Добровинская-Владимирова*

Художники *В. В. Васильев, С. В. Иващук*

Технический редактор *Е. А. Лапсарь*

Компьютерная верстка *Г. В. Климушкина*

Корректор *Е. В. Морозова*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.03.953.Д.004992.08.05 от 16.08.2005.

Подписано к печати 27.03.06. Формат 60×90¹/₁₆.

Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 20,0. Тираж 30 000 экз. Заказ № 14307 (К-Г).

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Суцевский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:
127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции
издательства «Дрофа» обращаться по адресу:

127018, Москва, Суцевский вал, 49.

Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Торговый дом «Школьник».

109172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А.

Тел.: (495) 911-70-24, 912-15-16, 912-45-76.

Сеть магазинов «Переплетные птицы».

Тел.: (495) 912-45-76.

ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».

214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.



δρόφα

ISBN 5-358-00951-5



9 785358 009516

